

М.Е.
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Пошехонская старина

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА

(Избранные главы)

*

ОГИЗ

Государственное издательство художественной литературы

1948

Обложка
Художника А. Щербакова

АННУШКА

Собственно говоря, Аннушка была не наша, а принадлежала одной из тетенек-сестриц. Но так как последние большую часть года жили в Малиновце, и она всегда их сопровождала, то в нашей семье все смотрели на нее как на «свою».

Это было простодушнейшее существо, с виду несколько строптивое, но внутренно преисполненное доброты и жаления. Качества эти были настолько преобладающими в ней, что из всей детской обстановки ни один образ не уцелел в моей памяти так полно и живо, как ее. Малорослая, приземистая, с лицом цвета сильно обожженного кирпича, формою своей напоминавшим гусиное яйцо и усеянным крупными бородавками, она не казалась, однако, безобразною, благодаря тому выражению убежденности, которое было разлито во всем ее существе. Глаза ее, покрытые старческою влагой, едва выглядывали из-под толстых как бы опухших век (один глаз даже почти совсем закрылся, так что на его месте видно было только мигающее веко); большой нос, точно цитадель, господствовал над мясистыми щеками, которых не пробороздила еще ни одна морщина; подбородок был украшен приличествующим зобом. Походка у нее была тяжелая,

медленная, голос густой и грубый. Летами ее никто не интересовался, так как она, повидимому, уже смолоду смотрела старухой; известно было, однако ж, что она была ровесницей тетеньке Марье Порфирьевне и вместе с нею росла в Малиновце. Вообще наружностью своей она напоминала почерневшие портреты старых бабушек, которые долгое время украшали стены нашей залы, пока, наконец, не были вынесены, по приказанию матушки, на чердак.

Подобно отцу, тетеньки-сестрицы не особенно налегали на труд и личность своих крепостных, хотя последние терпели немало от их чудачеств и безалаберности. Поэтому на всех уголковских крестьянах (имение тетенек называлось «Уголком») лежал особый отпечаток: они хотя и чувствовали на себе иго рабства, но несли его без ропота и были, так сказать, рабами *по убеждению*. Аннушка принадлежала к числу таких убежденных; у нее даже сложился свой рабский кодекс, которого она не скрывала. Кодекс этот был немногосложен и имел в основании своем афоризм, что рабство есть временное испытание, предоставленное лишь избранникам, которых за это ждет вечное блаженство в будущем.

— Христос-то для черняди с небеси сходил, — говорила Аннушка, — чтобы черный народ спасти, и для того благословил его рабством. Сказал: рабы, господам повинуйтеся, и за это сподобитесь венцов небесных.

Но о том, каких венцов сподобятся в будущей жизни господа, — она, конечно, умалчивала.

Доктрина эта в то время была довольно распространенною в крепостной среде и, повидимому, даже подтверждала крепостное право. Но

помещики чутьем угадывали в ней нечто злокачественное (в понятиях пуристов-крепостников самое «рассуждение» о послушании уже представлялось крамольным) и потому если не прямо преследовали адептов ее, то всячески к ним придирались.

Да и в самом деле, разве не обидно было, например, Фролу Терентьичу Балаболкину слышать, что он, «столбовой дворянин», на вечные времена осужден в аду раскаленную сковороду лизать, тогда как Мишка-чумичка или Ванька-подлец будут по райским садам гулять, золотые яблоки рвать и вместе с ангелами славословить?!

— И добро бы они «настоящий» рай понимали! — негодуя, прибавляла сестрица Фрола Терентьича, Ненила Терентьевна: — а то какой у них рай! им бы только жрать, да сложа ручки сидеть, да песни орать! вот, по-ихнему, рай!

Этому толкованию все смеялись, но в то же время наматывали на ус, что даже и такой грубый рай все-таки предпочтительнее, нежели обязательное лизание раскаленной сковороды.

— И как ведь, канальи, притворяются: — всё больше и больше распалялся господин Балаболкин: — «баринушко!» да «кормилец!» да «вы наши отцы, мы — ваши дети» — только и слов! На конюшню бы вас, мерзавцев, да драть, покуда небо с овчинку не покажется! Да еще что! давеча иду я мимо лакейской, слышу Паладкин голос, и остановился. И что ж, вы думаете, он проповедует? «Христос-то батюшка, — говорит, — что сказал? ежели тебя в ланиту ударят, — подставь другую!» Не вытерпел я, вошел да как гаркну: вот я тебе разом, шельмец, по обеим ланитам вздую, чтоб ты уже и не подставлял!.. Так ведь

вот какой закоренелый, даже и тут не очнулся. «Извольте, сударь! мы из вашей воли не выходим».

Такова была несложная теоретическая сущность аннушкиной доктрины. Но жизнь делала свое дело и не позволяла оставаться исключительно на высотах теоретических воззрений, а требовала применений и к суровой действительности. Возникала целая серия практических ограничений, которые, на помещичьем языке, уже прямо назывались бунтовскими. Хоть и следовало беспрекословно принимать *всё* и от *всякого* господина, но сквозь общую ноту послушания все-таки просачивалась мысль, что и господа имеют известные обязанности относительно рабов и что те, которые эти обязанности выполняют, и в будущей жизни облегченье получат. Само собой разумеется, что подобное критическое отношение выражалось более нежели робко, но и его было достаточно, чтобы внушить господам, что мозги хамов все-таки не вполне забиты и что в них происходит какая-то работа. И работа тем более неприятная, что она, стесняя в распоряжениях вообще, в особенности обуздывающим образом действовала на ручную расправу.

— Беда, как этот дух в дворне заведется, — говаривала матушка: — ходят, тихони, на цыпочках, ровно святые! Ни ты ему слово не скажи, ни пальцем его не тронь! «Слушаюсь, вся ваша воля» — только и слов... И ни усмешечки в лице, ни в голосе повышения... привязаться не к чему! А посмотри на него, — всякая жилка у него говорит: «что же, мол, ты не бьешь, — бей! зато в будущем веке отольются кошке мышкины слезки!» Ну, посмотришь-посмотришь, увидишь,

что дело идет своим чередом, — поневоле и остережешься! Потому что, расправься-ка с ним, так он расправу-то за награду себе почтет!

— И я, признаться, этих тихонь недолюбливаю, — обыкновенно отзывался на эти сетования отец: — тихи-тихи, а что у них на уме — не угадаешь. Строже с них спрашивать надо!

— Как же ты спросишь, коли у него в порядке всё, привязаться не к чему!

— Ну, ты найдешь. Была бы спина, а то будет вина! что говорить об этом!

Аннушка была насквозь пропитана указаниями выработанного ею кодекса и не только не скрывала этого от своих «барышень», но даже и от матушки.

Она родилась в Малиновце и страстно любила не только место своей родины, но и всё относившееся к нему, не исключая и господ. К отцу она относилась как к патриарху, «барышням» была бесконечно предана. Вместе с ними она была осуждена на безвыходное заключение, в продолжение целой зимы, наверху в боковушке, и, как они же, сходила вниз исключительно в часы еды, да в праздник, чтоб итти в церковь. Только к матушке она, кажется, питала не совсем приязненные чувства, хотя и тут, я уверен, всячески старалась подавлять свою нелюбовь.

В свою очередь, и отец, и тетеньки очень дорожили Аннушкой, что не мешало им, впрочем, звать ее то Анюткой, то Анкой-каракатицей. Нередко отец, после утреннего чая, заходил к сестрицам, усаживался на одном из сундуков и предавался воспоминаниям о прошлом. Аннушка всегда принимала участие в этих интимных

беседах, «точно ровня», хотя, яко раба, присутствовала при них стоя. Перед собеседниками воочию восстановлялся прежний, тихий Малиновец, где всем было хорошо, всего довольно, и все были связаны общим желанием мира и любви. Вспоминались покойный дедушка Порфирий Васильич, покойная бабушка Надежда Осиповна, их наставления, поговорки, привычки и даже любимые кушанья. Не забывались и старые слуги, усердные, верные, преданные, и всё мастера своего дела. И принять, и подать, и приготовить — на всё у них золотые руки были. И не из-под плетки работали, а любя... Весело в ту пору жилось, гульливо, привольно! Сговорятся, бывало, соседи и съедутся в Малиновец запросто. Мужчины, постарше, с борзыми на охоту уедут, барыни постарше соберут сенных девушек и заставят песни петь; молодежь в пляс пустится, пыль столбом поднимет.

— Наливки какие были! водки! квасы! — восторгалась тетенька Ольга Порфирьевна, которая, в качестве христовой невесты, смолоду около хозяйства ходила.

— Да и я прежде квас пивал, а нынче не пью, — откликался отец.

— Какой нынче квас! Или опять соленья, варенья — нынче и секрет-то этот потерян.

— Нынче и овоща такого нет. Помните, братец, какие бывали яблоки?

— Да, помню, как однажды при мне покойник батюшка из сада принес яблоко — вот!

Отец складывал вместе оба кулака, чтоб дать понятие о величине яблока.

— И куда всё девалось! — грустно произносил он.

— А помните, как батюшка приятно на гуслях играл! — начинала новую серию воспоминаний тетенька Марья Порфирьевна: — «Звук унылый фортепьяна», или: «Се ты, души моей присуха...» до слез, бывало, проймет! Ведь и вы, братец, прежде игрывали?

— Да, играл.

— И куда ваши гусельки девались — словно я их давно не вижу?

— На чердак, должно быть, снесли.

— Не иначе, как на чердак... А кому они мешали! Ах, да что про старое вспоминать! Нынче взойдешь в девичью-то — словно в гробу девки сидят. Не токма что песню спеть, и слово молвить промежду себя боятся. А при покойнице-матушке...

— Да, хорошо тогда было! всем было хорошо! а нынче — всем худо стало!

— Забылись — оттого и худо стало, — кратко и круто решала Аннушка.

Решение это всегда сердило отца. Он понимал, что Аннушка не один Малиновец разумеет, а вообще «господ», и считал ее слово кровною обидой.

— Забылись! кто забылся? — говори, долгоязычная, коли знаешь! — накидывался он на строптивую рабу.

— Известно, не рабы, а господа забылись, — отвечала она, нимало не смущаясь.

— Ах, ты, долгоязычная язва! Только у тебя и слов на языке, что про господ судачить! Просто выскочила из-под земли ведьма (матушке, вероятно, икалось в эту минуту) и повернула по-своему. А она: «господа забылись»!

— Тьфу, тьфу, тьфу! сгинь-пропади! — от-

плевывались при слове «ведьма» тетеньки, набожно крестясь.

Отец задумывался. Словно вихрем всё унесло! — мелькало у него в голове. — Спят дорогие покойники на погосте под сенью храма, ими воздвигнутого, даже памятников настоящих над могилами их не поставлено. Пройдет еще годков десять — и те крохотненькие пирамидки из кирпича, которые с самого начала были наскоро сложены, разрушатся сами собой. Только Спас Милостивый и будет охранять обнаженные могильные насыпи.

— Пожалуй, и березку-то самосадочную, которая на батюшкиной могилке выросла, — и ту на дрова изведут.

— Ах, братец! да вы бы...

— Что ж я... стар я, умирать пора!

Просидевши с сестрами час или полтора, отец спускался вниз и затворялся в своем кабинете, а тетеньки, оставшись одни, принимались за работы из фольги[1], в которых они слыли большими мастерицами. Аннушка, в свою очередь, скрывалась за печку, где ей было отведено крохотное пространство, буквально столько, чтобы постелить войлок, на котором она спала. Там царствовали вечные сумерки и ползало и прыгало такое множество насекомых, что даже это вполне обтерпевшееся существо страдало от них.

---

[1] Фольгой называлась жесть самой тонкой прокатки, окрашиваемая в разные цвета. Из нее делали преимущественно украшения для местных церковных свечей, венчики для образов, а иногда и целые оклады.

(Прим. автора.)

Сидя на обрубке дерева, Аннушка с утра до вечера машинально надвязывала пятки к продырявившимся тетенькиным чулкам и, покачиваясь, дремала. Говорила ли она себе, что жить уж довольно, или, напротив, просила у бога еще хоть крошечку пожить — неизвестно. Вероятнее всего, она и то, и другое желание считала грехом — и вследствие этого просто жила.

И не одна она так жила; тетеньки, и почище ее, а не лучше жили. Стало быть, ей, рабе, и подавно претендовать на другую жизнь нечего. Христос Спас Милостивый благословил ее рабством — вот это она помнит твердо, и уж, конечно, никому не удастся подорвать ее убеждение, что в будущем веке она будет сторицею вознаграждена за свои временные страдания. Сильная этим убеждением, она бодро пойдет навстречу безболезненной и мирной кончине, а до тех пор будет сидеть за печкой и «жить». Да и тетеньки, покуда она там покряхтывает и почесывается, будут с уверенностью утверждать, что ежели Аннушка почесывается, то, значит, она «живет».

Во всяком случае в боковушке все жили в полном согласии. Госпожи «за любовь» приказывали, Аннушка — «за любовь» повиновалась. И если по временам барышни называли свою рабу строптивою, то это относилось не столько к внутренней сущности речей и поступков последней, сколько к их своеобразной форме.

Только один раз согласие было нарушено, и Аннушка вполне сознательно позволила себе быть строптивою. И именно вот по какому случаю. В припадке проказливости, тетеньке Марье

Порфирьевне вдруг вздумалось выдать Анку-каракатицу (в то время обе, и барышня, и раба, были еще молоды) замуж. Серьезно ли в ней гнездилось это намерение, или она только шутки шутила, во всяком случае Аннушка испугалась. Да и было от чего: в женихи ей выбрали самого рослого детину из всей уголковской вотчины. Аннушка бросилась к тетеньке Ольге Порфирьевне, но последней сестрицына мысль показалась настолько забавною, что она и сама не отказалась принять участие в затеянном сватовстве. Недели две-три сряду томили веселые сестрицы несчастную каракатицу и наконец объявили, что через день быть девичнику. И вот, ввиду неминучей беды, Аннушка решилась ослушаться. Украдучись, ушла она ночью из Уголка, почти без отдыха отмахала сорок верст и на другой день к обеду была уж в Малиновце. Разумеется, отец (он был еще холостой) принял ее под свое покровительство, написал тетенькам грозное письмо, и затея не состоялась. Но невольно спрашиваешь себя: что сталось бы, если бы и на отца нашел такой же смешливый час, как и на тетеньку Ольгу Порфирьевну?

Но возвращаюсь к миросозерцанию Аннушки. Я не назову ее сознательной пропагандисткой, но поучать она любила. Во время всякой еды в девичьей немолчно гудел ее голос, как будто она вознаграждала себя за то мертвое молчание, на которое была осуждена в боковушке. У матушки всегда раскипалось сердце, когда до слуха ее долетало это гудение, так что, даже не различая явственно аннушкиных речей, она уже угадывала их смысл.

Речи эти были в высшей степени однообразны

и по существу, и по форме. Преследуя исключительно одну и ту же мысль, они давным-давно исчерпали всё ее содержание, но имели за собой то преимущество, что обращались к такой среде, которая никогда не могла достаточно насытиться ими. «Повинуйтесь! повинуйтесь! повинуйтесь! причастницами света небесного будете!» — твердила она беспрестанно и приводила примеры из евангелия и житий святых (как на грех, она церковные книги читать могла). А так как и без того в основе установившихся порядков лежало безусловное повиновение, во имя которого только и разрешалось дышать, то всем становилось как будто легче при напоминании, что удручающие вериги рабства не были действием фаталистического озорства, но представляли собой временное испытание, в конце которого обещалось воссияние в присносущем небесном свете.

Возражательниц не случалось; только Акулина-ключница не упускала случая, чтобы не прикрикнуть на нее.

— Закаркала, ворона, слушать тошно! повинуйтесь да повинуйтесь! и без тебя знают!

Да еще матушка, подслушавши разговор, откликалась из коридора:

— Ты что, бунтовщица, мутишь! Доедай свое, да и отправляйся в боковушку!

— Я не мучу, а добру учу, — возражала Аннушка: — я говорю: ежели господин слово бранное скажет — не ропщи; ежели рану причинит — прими с благодарностью!

— Так, по-твоему, значит, господа только и делают, что ругаются да причиняют раны рабам?

— Я не говорю: только и делают, я говорю: *если* господин раны причинит...

— Ну, хорошо; пусть будет по-твоему: *если* причинит... а дальше что?

— А потом, сударыня, бог рассудит.

— То-то «бог рассудит»! Велю я тебя отодрать на конюшне и увижу, как ты благодарить меня будешь!

— И буду благодарить. В ножки, сударыня, поклонюсь.

Дальнейших последствий стычки эти не имели. Во-первых, не за что было ухватиться, а во-вторых, Аннушку ограждала общая любовь дворовых. Нельзя же было вести ее на конюшню за то, что она учила рабов с благодарностью принимать от господ раны! Если бы в самом-то деле по ее сталось, тогда бы и разговор совсем другой был. Но то-то вот и есть: на словах: «повинуйтесь! да благодарите!» — а на деле... Держи карман! могут они что-нибудь чувствовать... хамы! Легонько его поучишь, а он уж зубы на тебя точит!

— Ешь-ка, ешь! лучше не слушать тебя, срамницу! — заключала матушка, удаляясь восвояси.

Однажды, однако, матушка едва не приняла серьезного решения относительно Аннушки. Был какой-то большой праздник, но так как услуга по дому и в праздник нужна, да сверх того матушка в этот день чем-то особенно встревожена была, то, натурально, сенные девушки не гуляли. По обыкновению, Аннушка произнесла за обедом приличное случаю слово, но, как я уже заметил, вступивши однажды на практическую почву, она уже не могла удержаться на высоте теоретических воззрений и незаметно впала в противоречие сама с собою.

— Бог-то как сделал? — учила она. — Шесть дней творил, а на седьмой — опочил. Так и все должны. Не только люди, а и звери. И волк, сказывают, в воскресенье скотины не режет, а лежит в болоте и отдыхает. Стало быть, ежели кто господней заповеди не исполняет...

Но ключница даже кончить ей не дала. Под ее надзором состояла вся девичья, и она отвечала перед барыней за порядок и тишину среди «беспорточной команды». Не мудрено поэтому, что она подозрительно отнеслась к аннушкиной проповеди.

— Ты что ж это! взаправду бунтовать вздумала! — крикнула она на нее:— по-твоему, стало быть, ежели, теперича, праздник, так и барыниных приказаний исполнять не следует! Сидите, мол, склавши ручки, сам бог так велел! Вот я тебя... погоди!

С этими словами она выбежала из девичьей и нажаловалась матушке. Произошел целый погром. Матушка требовала, чтоб Аннушку немедленно услали в Уголок, и даже грозилась отправить туда же самих тетенек-сестриц. Но, благодаря вмешательству отца, дело кончилось криком и угрозами. Он тоже не похвалил Аннушку, но ограничился тем, что поставил ее в столовой, во время обеда, на колени. Сверх того, целый месяц ее «за наказание» не пускали в девичью и носили пищу наверх.

Вообще много горя приняла Аннушка от ключницы, хотя нельзя сказать, чтоб последняя была зла по природе или питала предвзятую вражду к долгоязычной каракатице. Едва ли они даже не сходились во взглядах на условия, при которых возможно совместное существование

господ и рабов (обе одинаково признавали слепое повиновение главным фактором этих условий), но первая была идеалистка и смягчала свои взгляды на рабство утешениями «от писания», а вторая, как истая саддукеянка, смотрела на рабство как на фаталистическое ярмо, которое при самом рождении придавило шею, да так и приросло к ней. Поэтому ничего нет мудреного, что аннушкины проповеди представлялись Акулине праздною болтовней, которая могла только бесполезно раздражать.

Сверх того, положение Акулины в господской усадьбе сложилось несколько иначе, нежели для прочей прислуги. Она была привезенка и не имела никакой кровной связи с Малиновцем и его аборигенами. Матушка высмотрела ее в Заболотье, где она, в качестве бобылки, жила на краю села, существуя ничтожной торговлишкой на площади в базарные дни. Убедившись из расспросов, что это женщина расторопная, что она может понимать с первого слова, да и сама за словом в карман не полезет, матушка без дальних рассуждений взяла ее в Малиновец, где и поставила смотреть за женской прислугой и стеречь господское добро. Эту роль она и исполняла настолько буквально, что и сама себя называла не иначе, как цепною собакой. Ни вражды, ни ненависти ни к кому у нее не было, а был только тот самодовлеющий начальственный лай, от которого вчуже становилось жутко.

— Посадили меня на цепь — я и лаю! — объявляла она: — вы думаете, что мне барского добра жалко, так по мне оно хоть пропадом пропади! А приставлена я его стеречь и буду скакать на цепи да лаять, пока не издохну!

Одним словом, это был лай, который до такой степени исчерпывал содержание ярма, придавившего шею Акулины, что ни для какого иного душевного движения и места в ней не осталось. Матушка знала это и хвалилась, что нашла для себя в Акулине клад.

Нечто подобное сейчас рассказанному случаю, впрочем задолго до него, произошло с Аннушкой и в другой раз, а именно, когда вышел первый ограничительный, для помещичьей власти, указ, воспрещающий продавать крепостных людей иначе, как в составе целых семейств. Весть об этом быстро распространилась по селам и деревням, а в конце концов достигла и до малиновецкой девичьей. Впечатление, произведенное ею, было несомненно, хотя выразилось исключительно в шушуканье и потупленных взорах, значение которых было доступно лишь тонкому чутью помещиков («ишь, шельмецы! и глаза потупили, выдать себя не хотят!»). Матушка, натурально, зорко следила за всем происходившим и в особенности внимательно прислушивалась, что будет Анюта брехать. И точно: Аннушка не заставила себя ждать и уже совсем было собралась сказать приличное случаю слово, но едва вымолвила: — Милостив батюшка-царь! и об нас, многострадальных рабах, вспомнил... — как матушка уже налетела на нее.

— Цыц, язва долгоязычная! — крикнула она. — Смотрите, какая многострадальная выискалась! Да не ты ли, подлая, завсегда проповедуешь: от господ, мол, всякую рану следует с благодарностью принять! — а тут! на-тко, обрадовалась! За что же ты венцы-то небесные будешь получать, ежели господин не смеет, как

ему надобно, тебя повернуть? задаром? Вот возьму, выдам тебя замуж за Ваську-дурака, да и продам с акциона! получай венцы небесные!

В этот раз аннушкина выходка не сошла с рук так благополучно. И отец не вступился за нее, ибо хотя он и признавал теорию благодарного поповиновения рабов, но никаких практических осложнений в ней не допускал. Аннушку постегали...

Не знаю, понимала ли Аннушка, что в ее речах существовало двоегласие, но думаю, что если б матушке могло притти на мысль затеять когда-нибудь с нею серьезный диспут, то победительницею вышла бы не раба, а госпожа. Повторяю: Аннушка уже по тому одному не могла не впадать в противоречия с своим кодексом, что на эти противоречия наталкивала ее сама жизнь. Положим, что принять от господина раны следует с благодарностью, но вот беда: вчера выпороли «занапрасно» Аришку, а она девушка хорошая, жаль ее. Или опять: Мирону Степанычу намеднись без зачета лоб забрили — за что про что? Как, ввиду таких фактов, удержаться на высоте теории, как не высказаться? А выскажешься — опять беда! Мотай себе господин на ус, что он, собственно говоря, не выпорол Аришку, а способствовал ей получить небесный венец... «Вот ведь как они, тихони-то эти, благодарность понимают!»

Как бы то ни было, но Аннушка чувствовала себя вполне свободною только в отсутствие матушки. С тех пор, как последнею овладел дух благоприобретения, случаи подобных отсутствий повторялись довольно часто. Она уезжала то в

Москву, то в новокупленные имения, и поездки ее бывали иногда довольно долгие. С отъездом матушки обыкновенно оживлялся весь дом. Отец не сидел безвыходно в кабинете, но бродил по дому, толковал со старостой, с ключницей, с поваром, словом сказать, распоряжался; тетеньки-сестрицы сходили к вечернему чаю вниз и часов до десяти беседовали с отцом; дети резвились и бегали по зале; в девичьей затевались песни, сначала робко, потом громче и громче; даже у ключницы Акулины лай стихал в груди. Вслед за тетеньками сходила вниз, по вечерам, и Аннушка.

В девичьей ей отводили место в уголку у стола, на котором горел сальный огарок. Девушки пряли. Аннушка надвязывала чулок и рассказывала. Темою для этих рассказов преимущественно служило подвижничество мучеников первых времен христианства (любимыми ее героинями были великомученицы Варвара и Екатерина). Говорила она плавно и вразумительно, так что даже мы, барчуки, нередко забегали в девичью и с удовольствием ее слушали. Выходила яркая картина, в которой, с одной стороны, фигурировали немилостивые цари: Нерон, Диоклетиан, Домициан и проч., в каком-то нелепо-кровожадном забытьи твердившие одни и те же слова: «пожри идолам! пожри идолам!» — с другой — кроткие жертвы их зверских инстинктов, с радостью всходившие на костры и отдававшие себя на растерзание зверям. Впечатление было бы полное, если бы Аннушка ограничилась простым изложением фактов, но она не воздерживалась и выводила из них поучения.

— Вот как святые-то приказания царские

исполняли! — говорила она: — на костры шли, супротивного слова не молвили, только имя господне славили! А мы что? Легонько нашу сестру господин пошпыняет, а мы уж кричим: немилостивый у нас господин, кровь рабскую пьет!

Разумеется, Акулина подмечала противоречие между фактом и выводом и не оставляла его без критики.

— Дура ты, дура! — возражала она: — ведь ежели бы, по-твоему, как ты завсегда говоришь, повиноваться, так святой-то человек должен бы был без разговоров чурбану поклониться — только и всего. А он, вишь ты, что! лучше, говорит, на куски меня изрежь, а я твоему богу не слуга!

Но Аннушка не смущалась этим возражением и, в свою очередь, не лезла за словом в карман.

— Так и следует, — отвечала она: — над телом рабским и царь и господин властны, и всякое телесное истязание раб должен принять от них с благодарностью; а над душою властен только бог.

— Стало быть, и ты будешь права? Тебе госпожа скажет: не болтай лишнего, долгоязычная! а ты ей в ответ: что хотите, сударыня, делайте, хоть шкуру с меня спустите, я всё с благодарностью приму, а молчать не буду!

— Ну, что уж меня к святым приравнивать!

— Нет, ты не увертывайся. Я тебя к святым не приравниваю, а спрашиваю: должна ли ты приказание госпожи выполнить или нет?

Завязывался диспут, и должно сознаться, что в большинстве случаев Аннушка вынуждалась уступить. Конечно, сравнительная слабость ее

диалектики отчасти зависела и от особенностей того положения, в котором она находилась, яко раба, и которое препятствовало ей высказаться с полной определенностью, но фактически Акулина все-таки торжествовала.

— То-то вот и есть, — заключала спор последняя: —и без того не сладко на каторге жить, а ты еще словно дятел долбишь: повинуйтесь да повинуйтесь!

Когда рассказы о мучениках истощались, на сцену выступали темы более современные.

Некоторые из них я и теперь помню. Жил в некотором царстве, в некотором государстве господин немилостивый, который десятки лет свирепствовал в своих вотчинах. Много он неповинных душ погубил, и делом, и словом, и помышлением — всячески убивал, и крестьян своих до нитки разорил. И всё ему бог терпел, всё ждал, что от него дальше будет, но наконец прогневался. Жена у господина была — с любовником убежала, семь сынов было — все один за другим напрасною смертью сгибли. А тут, на грех, сгорел господский дом и все пожитки, какие в нем были, и золото, и серебро — словом, всё пропало. Остался господин одинок, ни семьи, ни приюта — ничего у него нет. И начал он задумываться. Думал да думал, да наконец и решил. Надел что ни на есть ветхую одежонку, взял в руки посошок и ушел крадучись ночью, чтоб никто не видал. Искали его, искали, даже на крестьян думали, не убили ли, мол, своего барина. И только лет десять спустя узнали, что он в дальний-дальний монастырь скрылся и схиму принял. Тогда всё раскрылось: и тиранство господина, и раскаяние его. Узнал батюшка-царь и велел господина, за дав-

ним временем, судом не судить, а имение его описать в казну. Теперь мужички живут хорошо, отдохнули.

Но Акулина и этого бесхитростного рассказа не пропускала без критики.

— Коли послушаешь тебя, что ты зàвсе без ума болтаешь, — заметила она: — так богу-то в это дело и мешаться не след. Пускай, мол, господин рабов истязает, зато они венцов небесных сподобятся!

— Да ведь и человечьему долготерпению предел положен. Не святые, а тоже люди — долго ли до греха! Иной не вытерпит, да своим судом себе правду добыть захочет, а бог его за это наказать должен.

— И накажет. Терпи. Умрешь, тогда и получишь награду.

Героем другого рассказа, тоже сложившегося под давлением крепостного ига, был купец. Жил-был этот купец в некотором царстве, в некотором государстве и владел несметными сокровищами. Только неправедно он эти сокровища нажил: татьбой да обманом, да грабежом. И всегда как раз наоборот сказочному разбойнику поступал: богатеев не трогал, а грабил только бедный народ, который сам в руки дается. И всё ему мало казалось. Принесет домой пригоршню золота и думает: теперь надо другую добывать. И вот, когда он полные сусеки золота и серебра накопил, вдруг напала на него немочь. Начал он пухнуть да гноем наливаться, а под конец и совсем заживо тлеть стал. Пошел от него такой дух тяжкий, что не только домочадцы и друзья, но и слуги все разбежались; остался он один как перст со своими сокровищами. И что ни делал, и

лекарей призывал, и к угодникам ездил, и храмы божии строил — ничего не помогало. И бог-то жертвы его не принимал. Только сидит он однажды у окошка и видит: идет мимо божий странник. Никогда он допрежь того ни одного странника не накормил, не обогрел, а тут вдруг в голову запало: позову да позову. Стали они промежду себя разговаривать, и чем больше купец на своего гостя глядит, тем больше у него сердце любовию к нему разжигается. И начал он помаленьку перед божьим странничком открываться. «Наказал меня бог, говорит, такую болесть наслал на меня, что места себе не найду; и домочадцы, и друзья — все меня бросили; живу хуже пса смердящего». — За что же тебя бог наказал? — спрашивает странник. — «И сам не ведаю, за что. Кажется, я и к угодникам езжу, и на храмы божии жертвую — и всё мне легости нет!» — А встань-ко к свету, я на тебя посмотрю! — Повернул странник к свету купцову голову и с испугу только и мог вымолвить: черна, ах, черна у тебя душа! — И заплакал. И купец, видючи его слезы, тоже заплакал. Стал странник перечислять купцу грехи его — и чего-чего тут не было! А всего больше обид сиротам да рабам. И взял с него в ту пору обет: всё неправедно нажитое имение на выкуп да на облегченье рабов обратить. Услышит ежели купец, где господин раба истязает или работой томит, — должен за него выкуп внести; или где ежели господин непосильные дани взыскивает, а рабам платить не из чего — и тут купец должен на помощь рабам притти. — Вот когда ты таким образом свои сокровища раздашь — бог и пошлет тебе облегчение! — сказал под конец странник и вдруг исчез,

словно в воздухе растаял. Понял тогда купец, что у него в гостях не человек, а ангел божий был. И сейчас же всё как следует, по его приказанию, выполнил. Заложил телегу, нагрузил ее золотом и серебром и поехал. Услышит, где раб стонет, — он его вызволит: либо совсем на волю выкупит, либо сердце начальников деньгами умилостивит, заступу для раба найдет. Одну телегу извел, другую нагрузил, и так до последнего сусека. И стало имя купцово по всей округе славно, и все рабы благословляли его и молили бога, чтоб он его от немочи тяжкой избавил. Когда же от неправедно нажитого сокровища уж ничего не осталось, божий человек опять явился, но уже не в странном виде, а в виде светлого облака. И услышал купец голос из облака: «Отпускаются тебе прегрешения твои!» и вдруг почувствовал такую лёгкость, словно в рай попал. И собрались, как прежде, в купцов дом домочадцы и друзья-приятели, и стали поживать мирком да ладком. Сыновья опять торговлей занялись и разжились пуще прежнего, а дочка за генерала замуж вышла. Сам же купец поселился при доме в крошечной сторожке и кончил жизнь в молчании и посте.

— И тут опять... — начинала возражать ключница, но на этот раз девушки даже не давали ей развить свою мысль.

— Отстаньте, Акулина Савостьяновна! что, в самом деле, привязались! — прерывали они ее: — По-вашему, и помогать-то сиротам грех!

— Не грех, а нечего по-пустому болтать. Эка невидаль, что купец краденое добро отдал!

— Краденое не краденое, а все-таки своего добра жалко!

— Вон в Заболотьи богатей Маслобоев живет. На что уж грабитель, попробуй-ка у него на бедность попросить, да он скорее удавится, а не даст!

Видя отпор, Акулина умолкала, а иногда даже совсем уходила из девичьей, и разговоры возобновлялись свободнее прежнего.

— А правда ли, тетенька, что у Троицы такой схимник живет, который всего только одну просвирку в день кушает? — любопытствует которая-нибудь из слушательниц.

— Есть такой божий человек. Размочит поутру в воде просвирку, скушает — и сыт на весь день. А на первой да на страстной неделе великого поста и во все семь дней один раз покушает. Принесут ему в светло христово воскресенье яичко, он его облупит, поцелует и отдаст нищему. Вот, говорит, я и разговелся!

— Вот как угодники-то живут!

— А мы как живем! Нас господа и щами, и толокном, и молоком — всем доволят, а мы ропщем, говорим: немилостивые у нас господа! с голоду морят!

По девичьей проносится громкий вздох. Аннушка продолжает:

— В царство-то небесное не широко растворены ворота, не легко в них попасть. Иной хоть и раб, а милость божья не покроет его.

Наконец бьет десять; из столовой доносится стук передвигаемых стульев. Это тетеньки прощаются с отцом, собираясь наверх. Вслед за ними снимается с своего шестка и Аннушка.

— Спать пора! — зевая, решают девушки, забывая, что при матушке они никогда раньше одиннадцати часов не оставляли пряжи.

И через полчаса весь дом погружен в глубокий сон.

Но всему есть конец. Наступает конец и для аннушкиных вольностей. Чу! со стороны села слышится колокольчик, сначала слабо, потом явственнее и явственнее. Это едет матушка. С ее приездом всё приходит в старый порядок. Девичья наполняется исключительно жужжанием веретен; Аннушка, словно заживо замуравленная, усаживается в боковушке за печку и дремлет.

Нечто вроде подобных собеседований, но в более скромных размерах, возобновлялось и на страстной неделе великого поста. Вся наша семья в эту неделю говела; дети не учились, прислуга пользовалась относительною свободою. Чаще обыкновенного Аннушка сходила вниз, оставляя тетенек одних, и водворялась в девичьей. Темою для ее бесед, конечно, служили страсти господни. И нужно сказать правду, что если бы не она, то злополучные обитательницы девичьей имели бы очень слабое понятие о том, что поется и читается в эти дни в церкви.

Но матушка не давала ей засиживаться. Мысль, что «девки», слушая Аннушку, могут что-то понять, была для нее непереносною. Поэтому, хотя она и не гневалась явно, — в такие великие дни гневаться не полагается, — но, заслышав аннушкино гудение, приходила в девичью и кротко говорила:

— Не мути ты меня, Христа ради! дай светлого праздника без греха дождаться! Поела и ступай с богом наверх!

Аннушка, конечно, повиновалась.

Несмотря однако ж на эти частые столкновения, в общем Аннушка не могла пожаловаться

на свою долю. Только под конец жизни судьба послала ей серьезное испытание: матушка и ее и тетенек вытеснила из Малиновца. Но так как я уже рассказал подробности этой катастрофы, то возвращаться к ней не считаю нужным.

Аннушка умерла в глубокой старости в том самом монастыре, в котором, по смерти сестры, поселилась тетенька Марья Порфирьевна. Ни на какую болезнь она не жаловалась, но, недели за две до смерти, почувствовала, что ей не можется, легла в кухне на печь и не вставала.

— Слава богу, не оставил меня царь небесный своей милостью!— говорила она, умирая: — родилась рабой, жизнь прожила рабой у господ, а теперь, ежели сподобит всевышний батюшка умереть, — на веки вечные останусь... божьей рабой!

МАВРУША-НОВОТОРКА

Она была новоторжская мещанка и добровольно закрепостилась. Живописец Павел (мой первый учитель грамоте), скитаясь по оброку, между прочим, работал в Торжке, где и заприметил Маврушу. Они полюбили друг друга, и матушка, почти никогда не допускавшая браков между дворовыми, на этот раз охотно дала разрешение, потому что Павел приводил в дом лишнюю рабу.

Года через два после этого Павла вызвали в Малиновец для домашних работ. Очевидно, он не предвидел этой случайности, и она настолько его поразила, что хотя он и не ослушался барского приказа, но явился один, без жены. Жаль ему было молодую жену с вольной воли навсегда заточить в крепостной ад; думалось: подержат господа месяц-другой и опять по оброку отпустят.

Но матушка рассудила иначе. Работы нашлось много: весь иконостас в малиновецкой церкви предстояло возобновить, так что и срок определить было нельзя. Поэтому Павлу было приказано вытребовать жену к себе. Тщетно молил он отпустить его, предлагая двойной оброк и даже обязываясь поставить за себя другого живописца; тщетно уверял, что жена у него хво-

рая, к работе непривычная, — матушка слышать ничего не хотела.

— И для хворой здесь работа найдется, — говорила она, — а ежели, ты говоришь, она непривычна к работе, так за это я возьмусь: у меня скорехонько привыкнет.

Мавруша однако ж некоторое время упорствовала и не являлась. Тогда ее привели в Малиновец по этапу.

При первом же взгляде на новую рабу матушка убедилась, что Павел был прав. Действительно это было слабое и малокровное существо, деликатное сложение которого совсем не мирилось с представлением о крепостной каторге.

— Да ведь что же нибудь ты, голубушка, дома делала? — спросила она Маврушу.

— Что делала! Хлебы на продажу пекла.

— Ну, и здесь будешь хлебы печь.

И приставили Маврушу для барского стола ситные и белые хлебы печь да кстати и печенье просвир для церковных служб на нее же возложили.

Мавруша повиновалась; но, повидимому, с первого же раза поняла значение шага, который сделала, вышедши замуж за крепостного человека...

Поселили их довольно удобно, особняком. В нижнем этаже господского дома отвели для Павла просторную и светлую комнату, в которой помещалась его мастерская, а рядом с нею, в каморке, он жил с женой. Даже месячину им назначили, несмотря на то, что она уже была уничтожена. И работой не отягощали, потому что труд Павла был незаурядный и ускользал от

контроля, а что касается до Мавруши, то матушка, по крайней мере на первых порах, махнула на нее рукой, словно поняла, что существует на свете горе, растравлять которое совесть зазрит.

Павел был кроткий и послушливый человек. В качестве иконописца, он твердо знал церковный круг и отличался серьезною набожностью. По праздникам пел на клиросе и читал за обедней апостола. Дворовые любили его настолько, что не завидовали сравнительно льготному житью, которым он пользовался. С таким же сочувствием отнеслись они и к Мавруше, но она дичилась и избегала сближений. Павел, с своей стороны, не настаивал на этих сближениях и исподволь свел ее только с Аннушкой (см. предыдущую главу), так как последняя, по его мнению, могла силою убежденного слова утишить горе добровольной рабы и примирить ее с выпавшим ей на долю жребием.

Я, впрочем, довольно смутно представлял себе Маврушу, потому что она являлась наверх всего два раза в неделю, да и то в сумерки. В первый раз, по пятницам, приходила за мукой, а во второй, по субботам, Павел приносил громадный лоток, уставленный стопками белого хлеба и просвир, а она следовала за ним и сдавала напеченное с веса ключнице. Но за семейными нашими обедами разговор о ней возникал нередко.

— Нечего сказать, нещечко взял за себя Павлушка! — негодовала матушка, постепенно забывая кратковременную симпатию, которую выказала к новой рабе: — сидят с утра до вечера, друг другом любуются; он образа малюет, она чулок вяжет. И чулок-то не барский, а свой. Не

знаю, что от нее дальше будет, а только ежели... ну, уж не знаю! не знаю! не знаю!

— Вольная ведь она была, еще не привыкла, — косвенно заступался за Маврушу отец.

— А разве чорт ее за рога тянул за крепостного выходить! Нет, нет, нет! По-моему, ежели за крепостного замуж пошла, так должна понимать, что и сама крепостною сделалась. И хоть бы раз она догадалась! хоть бы раз пришла: позвольте, мол, барыня, мне господскую работу поработать! У меня тоже ведь разум есть; понимаю, какую ей можно работу дать, а какую нельзя. Молотить бы не заставила!

— Хлебы она печет, просвиры...

— Это в неделю-то на три часа и дела всего; и то печку-то, чай, муженек затопит... Да еще что, прокураты, делают! Запрутся да никого и не пускают к себе. Только Анютка долгоязычная и бегает к ним.

— Не трогай их, ради Христа. Пускай он иконостас кончит.

— Иконостас — сам по себе, а и она работать должна. На-тко! Явилась господский хлеб есть, пальцем о палец ударить не хочет! Даромто всякий умеет хлеб есть! И самовар с собой привезли — чай да сахары... дворяне нашлись! Вот я возьму, да самовар-то отниму...

Иногда матушка подсылала ключницу посмотреть, что делают «дворяне». Акулина исполняла барское приказание, но не засиживалась и через несколько минут уже являлась с докладом.

— Ну что?

— Ничего. Сидят смирно, промежду себя разговаривают.

— Вот я им дам «разговаривают»! Да ты бы подольше у них побыла, хорошенько бы высмотрела.

— Нечего смотреть. Сидят тихо; он образ пишет, она краску трет.

— Небось, чаем потчевали?

— Не пивала ихнего чаю; не знаю.

— И ты с ними заодно... потатчица.

Но, как я уже сказал, особенных мер относительно Мавруши матушка все-таки не принимала и ограничивалась воркотней. По временам она, впрочем, и призывала самого Павла.

— Долго ли твоя дворянка будет сложа ручки сидеть? — приступала она к нему.

— Простите ее, сударыня! — умолял Павел, становясь на колени.

— Нет, ты мне отвечай: долго ли дворянка твоя будет праздновать?

— Не умеет она работу работать. Хлебы вот печет.

— Это в неделю-то три-четыре часа... А ты знаешь ли, как другие работают!

— Знаю, сударыня, да хворая она у меня.

— Вот я эту хворь из нее выбью! Ладно! подожду еще немножко, посмотрю, что от нее будет. Да и ты хорош гусь! Чем бы жену уму-разуму учить, а он целуется да милуется... Пошел с моих глаз... тихоня!

Натурально, эти разговоры и сцены в высшей степени удручали Павла. Хотя до сих пор он не мог пожаловаться, что господа его притесняют, но опасение, что его тихое житие может быть во всякую минуту нарушено, было невыносимо. Он упал духом и притих больше прежнего.

Шли месяцы; матушка всё больше и больше входила в роль властной госпожи, а Мавруша продолжала «праздновать» и даже хлебы начала печь спустя рукава.

Павел не раз пытался силою убеждения примирить жену с новым положением (рассказывали, что он пробовал и «учить» ее), но все усилия его в этом смысле оказались напрасными. Повидимому, она еще любила мужа, но над этою привязанностью уже господствовало представление о добровольном закрепощении, силу которого она только теперь поняла, и мысль, что замужество ничего не дало ей, кроме рабского ярма, до такой степени давила ее, что самая искренняя любовь легко могла уступить место равнодушию и даже ненависти. Покамест еще до этого не дошло, но очевидно было, что насильственное водворение в Малиновце открыло ей глаза.

Подобно Аннушке, она обзавелась своим кодексом, который сложился в ее голове постепенно, по мере того как она погружалась в обстановку рабской жизни. Ей вдруг сделалось ясно, что, отказавшись, ради эфемерного чувства любви, от воли, она в то же время предала божий образ и навлекла на себя «божью клятву», которая не перестанет тяготеть над нею не только в этой, но и в будущей жизни, ежели она каким-нибудь чудом не «выкупится». Стало быть, отныне все заветнейшие мечты ее жизни должны быть устремлены к этому «выкупу», и вопрос заключался лишь в том, каким путем это чудо устроить. Самым естественным выходом представлялся следующий: нести рабское иго лишь настолько, чтобы уступать исключительно наси-

лию. Отчасти она уже выполнила эту задачу, отказавшись явиться к господам добровольно; теперь точно так же предстоит ей поступить, ежели господа вздумают ее заставлять господскую работу работать. Не станет она работать, не станет. Даже если ее истязать будут, она и истязанья примет, ради изведения души своей из тьмы, в которую погрузила ее «клятва».

Но ежели и этого будет недостаточно, чтобы спасти душу, то она и другой выход найдет. Покуда она еще не загадывала вперед, но решимости у нее хватит...

Была ли вполне откровенна Мавруша с мужем — неизвестно, но во всяком случае Павел подозревал, что в уме ее зреет какое-то решение, которое ни для нее, ни для него не предвещает ничего доброго; естественно, что по этому поводу между ними возникали даже ссоры.

— Не стану я господскую работу работать! Не поклонюсь господам! — твердила Мавруша: — я вольная!

— Какая же ты вольная, коли за крепостным замужем! Такая же крепостная, как и прочие, — убеждал ее муж.

— Нет, я природная вольная; вольною родилась, вольною и умру! Не стану на господ работать!

— Да ведь печешь же ты хлебы! хоть и легкая это работа, а все-таки господская.

— И хлебы печь не стану. Ты меня в ту пору смутил: попеки да попеки! а я тебя, дура, послушалась. Буду печь одни просвиры для церкви божьей.

— А ежели барыня отстегать тебя велит?

— И пускай. Пускай как хотят тиранят, пускай хоть кожу с живой снимут — я воли своей не отдам!

И действительно, в одну из пятниц ключница доложила матушке, что Мавруша не пришла за мукой.

— Это еще что за моды такие! — вспылила матушка.

— Не знаю. Говорит: не слуга я вашим господам, я вольная.

— А вот распишу я ей вольную на спине. Привести ее да и оболтуса мужа кстати позвать.

Предсказание Павла сбылось: Маврушу высекли. Но на первый раз поступили по-отечески: наказывали не на конюшне, а в девичьей, и сечь заставили самого Павла. Когда экзекуция кончилась, она встала со скамейки, поклонилась мужу в ноги и тихо произнесла:

— Спасибо за науку!

Но хлебов все-таки более не пекла.

С этих пор она затосковала. К прежней сокрушавшей ее боли прибавилась еще новая, которую нанес уже Павел, так легко решившийся исполнить господское приказание. По мнению ее, он обязан был всякую муку принять, но ни в каком случае не прикасаться лозой к ее телу.

— Срамник ты!—сказала она, когда они воротились в свой угол. И Павел понял, что с этой минуты согласной их жизни наступил бесповоротный конец. Целые дни молча проводила Мавруша в каморке и не только не садилась около мужа во время его работы, но на все его вопросы отвечала нехотя, лишь бы отвязаться. Никакого просвета в будущем не предвиделось; даже представить себе Павел не мог, чем всё это кончится.

Попытался было он попросить «барина» вступиться за него, но отец, по обыкновению, уклонился.

— Рабы вы, — ответил он: — и должны, яко рабы, господам повиноваться.

— Это так точно, — попробовал возразить Павел: — но ежели такой случай вышел.

— Никакого случая нет, просто с жиру беситесь! А впрочем, я, брат, в эти дела не вмешиваюсь; ничего я не знаю, ступай, проси барыню, коли что...

Матушка, между тем, каждодневно справлялась, продолжает ли Мавруша стоять на своем, и получала ответ, что продолжает. Тогда вышло крутое решение: месячины непокорным рабам не выдавать и продовольствовать их, наряду с другими дворовыми, в застольной. Но Мавруша и тут оказала сопротивление и ответила через ключницу, что в застольную добровольно не пойдет.

— Да ведь захочет же она жрать? — удивлялась матушка.

— Не знаю. Говорит: «ежели насильно меня в застольную сведут, так я все-таки там есть не буду!»

— Врет, лиходейка! Голод не тетка... будет жрать! Ведите в застольную!

Но Мавруша не лгала. Два дня сряду сидела она не евши и в застольную не шла, а на третий день матушка обеспокоилась и призвала Павла.

— Да что она у тебя, порченая, что ли? — спросила она.

— Не знаю, сударыня. Хворая, стало быть.

— Хворые-то смирно сидят, не бунтуют; нет, она не хворая, а просто фордыбака... Дворянку разыгрывает из себя.

— С чего бы, кажется...

— Насквозь я ее, мерзавку, вижу! да и тебя, тихоня! Берегись! Не посмотрю, что ты из лет вышел, так-то не в зачет в солдаты отдам, что любо!

— Отпустите нас, сударыня! Я и за себя, и за нее оброк заплачу.

— Ни за что! Даже когда иконостас кончишь, и тогда не пущу! Сгною в Малиновце. Сиди здесь, любуйся на свою женушку милую!

Но всё это был только разговор, а нужно было какой-нибудь практический выход сыскать. Ничего подобного матушка в помещичьей своей практике не встречала и потому находилась в великом смущении. Иногда в ее голове мелькала мысль, не оставить ли Маврушу в покое, как это уж и было допущено на первых порах по водворении последней в господской усадьбе; но она зашла уж так далеко в своих угрозах, что отступить было неудобно. Этак и все, глядя на фордыбаку, скажут: и мы будем склавши ручки сидеть! Нет! надо во что бы ни стало сокрушить упорную лиходейку; надо, чтоб все осязательно поняли, что господская власть не праздное слово.

И тем не менее все-таки пришлось в конце концов отступить.

Распоряжения самые суровые следовали одни за другими, и одни же за другими немедленно отменялись. В сущности, матушка была не злонравна, но бесконтрольная помещичья власть приучила ее сыпать угрозами и в то же время притупила в ней способность предусматривать, какие последствия могут иметь эти угрозы. Поэтому, встретившись с таким своенравным сопротивлением, она совсем растерялась.

— Ведите, ведите ее на конюшню! — приказывала она, но через несколько минут одумывалась и говорила: — ин прах ее побери! не троньте! подожду, что еще будет!

Было даже отдано приказание отлучить жену от мужа и силком водворить Маврушу в застольную; но когда внизу, из Павловой каморки, послышался шум, свидетельствовавший о приступе к выполнению барского приказания, матушка испугалась... «А ну, как она в самом деле голодом себя уморит!» — мелькнуло в ее голове.

Все домочадцы с удивлением и страхом следили за этой борьбой ничтожной рабы с всесильной госпожой. Матушка видела это, мучилась, но ничего поделать не могла.

— Ест? — беспрерывно осведомлялась она у ключницы.

— Отказывается покуда.

— Не иначе, как Павлушка потихоньку ей носит. Сказать ему, негодяю, что если он хоть корку хлеба ей передаст, то я — видит бог! — в Сибирь обоих упеку!

Но едва, вслед за тем приносили в девичью завтрак или обед, матушка призывала которую-нибудь из девушек (даже перед ними она уже не скрывалась) и говорила:

— Снеси... ну, этой!.. щец, что ли... Да не сказывай, что я велела, а будто бы от себя.

Повторяю, всесильная барыня вынуждена была сознаться, что если она поведет эту борьбу дальше, то ей придется все дела бросить и всю себя посвятить усмирению строптивой рабы.

Как ни горько было это сознание, но здравый смысл говорил, что надо во что бы то ни стало покончить с обступившей со всех сторон безала-

берщиной. И надо отдать справедливость матушке: она решилась последовать советам здравого смысла. Призвала Павла и сказала:

— Который уж месяц я от вас муку-мученскую терплю! Надоело. Живите как знаете. Только ежели дворянка твоя на глаза мне попадется — уж не прогневайся! Прав ли ты, виноват ли... обоих в Сибирь законопачу!

И тут же сделала распоряжение, чтобы Маврушу не трогать, а Павла опять перевести на месячину, но одного, без жены.

— А она пускай как знает так и живет. Задаром хлебом кормить не буду.

Примирившись с этой развязкой, матушка на несколько дней как будто примолкла. Голос ее реже раздавался по дому, приказания отдавались тихо, без брани. Она поняла, что необходимо, чтоб впечатление, произведенное странным переполохом на дворню, улеглось.

С своей стороны, и Мавруша присмирела или, лучше сказать, совсем как бы перестала существовать. Сидела, как узница, в своей каморке и молчала, угнетаемая одиночеством и горькими мыслями о погубленной молодости.

Во мне лично, тогда еще почти ребенке, происшествие это возбудило сильное любопытство. Неоднократно я пытался спуститься вниз, в Павлову комнату, чтоб посмотреть на Маврушу, но едва подходил к двери, как меня брала оторопь, и я возвращался назад, не выполнив своего намерения. Зато всякий раз, когда мне случалось быть в саду, я нарочно ходил взад и вперед вдоль фасада дома, замедлял шаги перед окном заповедной каморки и вглядывался в затканные паутиной стекла, скрывавшие от меня ее внутрен-

ность. И мне слышалось, словно кто-то там тихо стонет.

Как бы то ни было, но жизнь Павла была погублена. Мавруша не только отшатнулась от него, но даже совсем перестала с ним говорить. Победа, которую она одержала над властной барыней, наводившей трепет на всё окружающее, далеко не удовлетворила ее. Собственно говоря, тут и победы не было, а просто надоело барыне возиться с бестолковой рабой, которая упала ей как снег на голову. Положение вещей нимало от этого не изменилось. И до победы Мавруша была раба и после победы осталась рабою же — только бунтующеюся. Поэтому сомнение ее насчет «божьей клятвы» осталось в прежней силе.

Мавруша тосковала всё больше и больше. Постепенно ей представился Павел как главный виновник сокрушившего ее злосчастья. Любовь, постепенно потухая, прошла через все фазисы равнодушия и, наконец, превратилась в положительную ненависть. Мавруша не высказывалась, но всеми поступками, наружным видом, телодвижениями, всем доказывала, что в ее сердце нет к мужу никакого другого чувства, кроме глубокого и непримиримого отвращения.

Аннушка опасалась, как бы она не извела мужа отравой или не «испортила» его; но Павел отрицал возможность подобной развязки и не принимал никаких мер к своему ограждению. Жизнь с ненавидящей женщиной, которую он продолжал любить, до такой степени опостылела ему, что он и сам страстно желал покончить с собою.

— До этого она не дойдет, — говорил он: — а вот я сам руки на себя наложу — это дело статочное.

Но и до этого дело не дошло, а разрешилось гораздо проще.

Ранним осенним утром, было еще темно, как я был разбужен поднявшеюся в доме беготней. Вскочив с постели, полуодетый, я сбежал вниз и от первой встретившейся девушки узнал, что Мавруша повесилась.

Драма кончилась. В виде эпилога я могу, впрочем, прибавить, что за утренним чаем, на мой вопрос: когда будут хоронить Маврушу? — матушка отвечала:

— А вот завтра обернут в рогожу и свезут в болото.

И действительно, на другое утро приехал из земского суда сельский заседатель, разрешил похоронить самоубийцу, и я из окна видел, как Маврушино тело, обернутое в дырявую рогожу, взвалили на роспуски и увезли в болото.

ВАНЬКА-КАИН

Настоящее его имя было Иван Макаров, но брат Степан с первого же раза прозвал его Ванькой-Каином. Собственно говоря, ни проказливость нрава, ни беззаветное и, правду сказать, довольно-таки утомительное балагурство, которыми отличался Иван, вовсе не согласовались с репутацией, утвердившейся за подлинным Ванькой-Каином, но кличка без размышления сорвалась с языка и без размышления же была принята всеми.

По профессии он был цирульник. Года два назад, по выходе из ученья, его отпустили по оброку; но так как он в течение всего времени не заплатил ни копейки, то его вызвали в деревню. И вот однажды утром матушке доложили, что в девичьей дожидается Иван-цирульник.

— А! золото! добро пожаловать! Ты что же, молодчик, оброка не платишь? — приветствовала его матушка.

Но Иван, вместо ответа, развязно подошел к барыне и сказал:

— Позвольте, сударыня, ручку поцеловать.

— Прочь... негодяй! Смотрите, шута разыгрывать вздумал! Сказывай, почему ты оброка не платишь?

— Помилуйте, сударыня, я бы с превеликим моим удовольствием, да, признаться сказать, самому деньги были нужны.

— А вот я тебя сгною в деревне. Я тебе покажу, как шута пред барыней разыгрывать! Посмотрю, как «тебе самому деньги были нужны»!

— Это как вам будет угодно. Я и здесь в превосходном виде проживу.

— Ах ты хамово отродье! скажите на милость!..

— Мерси бонжур. Что за оплеуха, коли не достала уха! Очень вами за ласку благодарён!

Матушка широко раскрыла глаза от удивления. В этом нескладном потоке шутовских слов она поняла только одно: что перед нею стоит человек, которого при первом же случае надлежит под красную шапку упечь и дальнейшие объяснения с которым могут повлечь лишь к еще более неожиданным репримандам.

— Вон! — крикнула она, делая угрожающий жест и в то же время благоразумно ретируясь.

— Же-ву-фелисит. Не доходя прошедши. Не извольте беспокоиться, получать не желаю.

Словом сказать, он с первого же шага ознаменовал свое водворение в Малиновце настолько характеристично, что никто уж не сомневался насчет предстоявшей ему участи.

Наружный вид он имел, можно сказать, самый нелепый. Долговязый, с узким и коротким туловищем на длинных тонких ногах, он постоянно покачивался, как будто ноги подкашивались под ним, не будучи в состоянии сдерживать туловища. Маленькая не по росту голова, малокровное и узкое лицо, формой своей напоминавшее лезвие ножа, длинные изжелта-белые

волосы, светло-голубые, без всякого блеска (словно пустые) глаза, тонкие, едва окрашенные губы, длинные, как у орангутанга, мотающиеся руки и, наконец, колеблющаяся, неверная походка (точно он не ходил, а шлялся) — всё свидетельствовало о каком-то ненормальном состоянии, которое близко граничило с невменяемостью. Явился он в белой холщевой рубашке навыпуск и, вдобавок, с гармоникой, которую, впрочем, оставил в сенях.

— Как это... как он сказал?.. «Же-ву-фелисит»... а дальше как? — припоминала матушка, возвратившись в девичью и становясь у окна, чтобы поглядеть, куда пойдет балагур. — Как, девки, он сказал?

— «Не доходя прошедши», — подсказала одна из девушек.

— Ишь, шут, выдумал же!

— Видел, что вы замахнулись — ну, и остерег: проходите, мол, мимо, — пояснила ключница Акулина, которая, в силу своего привилегированного положения в доме, не слишком-то стеснялась с матушкой.

— А вот я его ужо! Смотрите! ишь, мерзавец, шляется! Именно не идет, а шляется! Батюшки! да никак он на гармонии играет! Бегите, бегите, отнимите у него гармонию!

Одна из девушек побежала исполнить приказание, а матушка осталась у окна, любопытствуя, что будет дальше. Через несколько секунд посланная уж поравнялась с балагуром, на бегу выхватила из его рук гармонику и бросилась в сторону. Иван ударился вдогонку, но, по несчастью, ноги у него заплелись, и он с размаху растянулся всем туловищем на землю.

— Смотрите! смотрите! растянулся!.. ах, туша несуразная! что? почесываешься? отбил печенки, подлец? — вскрикивала матушка, любуясь зрелищем и забывая недавний свой гнев.

Гармонику принесли; но вслед за тем на лестнице раздались шаги. Заслышавши их, матушка поспешно схватила гармонику и буквально бежала из девичьей.

— Это уж не манер! — во всё горло бушевал воротившийся балагур: — словно на большой дороге грабят! А я-то, дурак, шел из Москвы и думал, призовет меня барыня и скажет: сыграй мне, Иван, на гармонии штучку!

Наконец девушки всей толпой обступили его и увели. А вслед за тем кучер Алемпий (он исправлял при усадьбе должность заплечного мастера), как говорится, на обе корки отодрал московского гостя.

В этот же день матушка за обедом говорила:

— Вот и еще готовый солдат явился. Посмотрю немного, и ежели что, так и набора ждать не стану.

Тут же, за обедом, брат Степан окрестил гостя Ванькой-Каином, и кличка эта так всем по вкусу пришлась, что с той же минуты вошла в общий обиход. Тем не менее для Степана выдумка его не обошлась даром. Вечером, встретивши своего крестника, он, с обычною непринужденностью, спросил его:

— А что, Ванька-Каин, хорошо давеча отпарили?

Иван, услышав новое прозвище, сначала изумился, но сейчас же понял, что барчонок — такой же балагур, как и он.

— Ванька-Каин... зачем? к чему? — огрызнулся он. — Меня, сударь, Иваном Макаровым зовут, а вот вас, правда ли, нет ли, папенька с маменькой за́все Степкой-балбесом величают!

Ремесло цирульника считалось самым пустым из всех, которым помещичье досужество обучало дворовых для домашнего обихода. Цирульники, ходившие по оброку, очень редко оказывались исправными плательщиками. Это были люди, с юных лет испорченные легким трудом и балагурством с посетителями цирулен; поэтому большинство их почти постоянно слонялось по Москве без мест.

Пьянство не особенно было развито между ними; зато преобладающими чертами являлись праздность, шутовство и какое-то непреоборимое влечение к исполнению всякого рода зазорных «заказов». Отощалые, оборванные, бродили они, предлагая свои услуги по части «девушек», и не останавливались даже перед перспективою помятых боков, лишь бы угодить своим случайным заказчикам. И что всего замечательнее, — несмотря на то, что «заказы» этого рода оплачивались широко, у этих людей никогда не бывало денег. Или, лучше сказать, они тотчас же самым безалаберным образом растрачивали полученный гонорар в первой полпивной, швыряя направо и налево мелкими ассигнациями. Вообще помещики смотрели на них как на отпетых, и ежели упорствовали отдавать дворовых мальчиков в ученье к цирульникам, то едва ли не ради того только, чтобы в доме был налицо по́лный комплект всякого рода ремесел.

В деревне ремесло цирульника еще резче отличалось от прочих. И ткача, и сапожника, и порт-

ного можно было держать в *постоянном* труде, свойственном специальности каждого, тогда как услуга цирульника почти совсем не требовалась. У нас, например, можно было воспользоваться Ванькой-Каином единственно для того, чтобы побрить или постричь отца, но эту деликатную операцию отлично исполнял камердинер Конон, да вряд ли отец и доверил бы себя рукам прощалыги, у которого бог знает что на уме. Поэтому надо было приискать для Ваньки-Каина стороннюю работу, на которой он изнывал бы непрестанно. Матушка, разумеется, и занялась этим, потому что она даже в мыслях не могла допустить, чтобы кто-нибудь из дворовых даром хлеб ел.

Однако задача эта оказалась не совсем легкою. Ни к какой работе Ванька-Каин приспособлен не был. Ежели в дом его взять, заставить помогать Конону, так смотреть на него противно, да он, пожалуй, еще озорство какое-нибудь сделает; ежели в помощники к пастуху определить, так он и там что-нибудь напакостит: либо стадо распустит, либо коров выдаивать будет. Думала, думала матушка и, наконец, решила: благо начался сенокос, послать Ваньку-Каина сено косить. И с вечера же, как только явился староста Федот за приказаниями, она сообщила ему о своей затее.

— Вряд ли он и косу в руку взять умеет, — предупреждал Федот: — грех только с ним один.

— Не умеет, так будет уметь. Почаще плеткой вспрыскивай — скорехонько научится.

— То-то что... Ты его плеткой, а он на тебя с косой...

— Ну, бог милостив... с богом!

Но наутро, едва выглянула матушка в окно, как убедилась, что Ванька-Каин преспокойно шляется по красному двору, размахивая руками.

— Отчего Ванька не на сенокосе? — обратилась она к ключнице.

— Стало быть, не пошел.

— Позвать его, подлеца!

— Лучше бы вы, сударыня, с ним не связывались!

— Нет, нет... позвать его... сейчас позвать!

И через несколько минут в девичьей уже поднялся обычный содом.

— Ты что же, голубчик, на сенокос не идешь? — кричала матушка.

— Позвольте, сударыня! «Здесь стригут и бреют и кровь отворяют», а вы меня с косой посылаете! Разве благородные господа так делают?

— Ах, мерзавец! он еще шутки шутит. Сейчас же к Алемпию сам ступай! Пускай он тебе по-намеднишнему засыплет.

— Однажды шел дождик дважды... Вчера засыпали, сегодня засыплют... Об этом еще подумать надо, сударыня.

Казалось бы, недавняя встреча должна была предостеречь матушку насчет будущих стычек с Ванькой-Каином, но постоянно удачная крепостная практика до такой степени приучила ее к беспрекословному повиновению, что она и на этот раз, словно застигнутая врасплох, стояла перед строптивым рабом с широко раскрытыми глазами, безмолвная и пораженная.

«Как же у других-то? — мелькало в ее голове: — неужто у всех так? в Овсецове у Анфиски... справляется же она как-нибудь?»

Само собою разумеется, что Ивану, в конце концов, все-таки засыпали, но матушка, тем не менее, решила до времени с Ванькой-Каином в разговоры не вступать, и как только полевые работы дадут сколько-нибудь досуга, так сейчас же отправить его в рекрутское присутствие.

— А до тех пор отдам себя на волю божию, — говорила она Акулине: — пусть батюшка царь небесный как рассудит, так со мной и поступает! Захочет — защитит меня, не захочет — отдаст на потеху сквернавцу!

— Да еще примут ли его в солдаты-то? — сомневалась Акулина.

— Отчего не принять?

— У него, слышь, передние зубы вышиблены.

— Ну, так я и знала! То-то я вчера смотрю, словно у него дыра во рту... Вот и еще испытание царь небесный за грехи посылает! Ну, что ж! Коли в зачет не примут, так без зачета отдам!

Не знаю, однакож, успела ли бы выполнить матушка свое решение не встречаться с строптивым рабом, если б не выручил ее кучер Алемпий, выпросив Ваньку-Каина на конюшню.

После этого матушка как будто успокоилась, но спокойствие это было только наружное, и в сущности мысль о Ваньке-Каине продолжала преследовать ее.

— Сбегай посмотри, что подлец делает? — по нескольку раз в день посылала она девчонку на конюшню.

И когда девчонка возвращалась с ответом: «сидит на приступочке и посвистывает», то матушка приходила в такое волнение, что губы у нее белели и тряслись.

— Ты что же, сударь, молчишь! — накиды-

валась она на отца: — твой ведь он! Смотрите на милость! Холоп над барыней измывается, а барин запрется в кабинете да с просвирами возится!

Но у отца был всегда наготове стереотипный ответ:

— Ничего я не знаю. Ты у меня все имения отняла, ты и распоряжайся!

Дни проходили за днями; Ванька-Каин не только не винился, но, повидимому, совсем прижился. Он даже приобретал симпатию дворовых. Хотя его редко выпускали с конного двора, но так как он вместе с другими ходил обедать и ужинать в застольную, то до слуха матушки беспрерывно доносился оттуда хохот, который она, не без основания, приписывала присутствию ненавистного балагура.

«Ишь, жеребцы, грохочут! — думалось ей: — наверное, это он, Ванька-Каин, их потешает!»

Даже в девичьей слышалось подозрительное хихиканье, которое также не ускользнуло от внимания матушки. Очевидно, и туда успели проникнуть Ивановы шутки и в особенности произвели впечатление на «кузнечих», которым они напомнили золотое время, когда в ушах их немолчно раздавался бесшабашный жаргон прожженных московских мастеровых.

Да и в самом деле, разве можно было не помирать со смеху, когда Ванька-Каин, приплясывая на своих нескладных ногах, пел:

Пироги!
Горячи!
С пылу, с жару,
По грошу за пару!
С лучком, с перцем,
С собачьим с сердцем!

Или когда перед собравшейся аудиторией выступали на сцену эпизоды из бесконечной повести о потасовках, которые он претерпел в течение своей многострадальной жизни.

— Пристал ко мне однажды купец Завейхвостов, — рассказывал он: — живет, говорит, тут у нас в переулке девица Груша, — она в канарейках у князя Унеситымоегоре состоит, — ах, хороша штучка! Так вот что, Иван! коли ты мне ее предоставишь, откуплю я тебя, перво-наперво, у господ, а потом собственное заведение тебе устрою... Вот тебе четвертная на расход! Взял я это деньги, думаю: завсегда я хорошим господам служил, — надо и теперь послужить. Отправился. Прошел, значит, мимо ее квартиры раз, прошел другой, третий — хожу да посвистываю. Вижу, сидит у окна девица, в пяльцах шьет; взглянет на меня и усмехнется. Эге! думаю, никак ты уж привышная! Подошел к окну да и говорю напрямки: позвольте мне с вами, Аграфена Максимовна, разговор иметь!— «Извольте», говорит. Вошел я, значит, в горницу. — Так и так, говорю, купец Завейхвостов Терентий Прохорыч желает с вами в любви жить. — Ну, разумеется, спервоначалу зажеманилась. «Ах, что вы! да как я! да каким же манером я своего князя оставить могу!» А между прочим: «приходите, мол, завтра об эту же пору, я вам ответ верный дам». Хорошо; завтра так завтра. Прихожу на другой день, а у нее уж и самовар на столе кипит. «Чайку не угодно ли?» Сели, пьем чай, разговариваем. «Какое положение от Терентия Прохорыча будет? каков он нравом?» Словом сказать, обо всем обстоятельно девица расспрашивает. Только вдруг, слышу я, словно по переулку кто едет. Ближе да ближе...

и вдруг она как вскочит! «А ведь это, говорит, мой князь! спрячьтесь в спальную, я его мигом спроважу». Пихнула она меня в спальную, а следом за тем и «сам» нагрянул. Слышу, спрашивает: «пришел?» — пришел! Так у меня сердце и захолонуло: попался я, значит. Выволок он меня в ту пору вот за эти самые волосы в горницу, поставил к печке и начал лущить. Лущит-лущит по щекам, отдохнет и начнет по зубам лущить, потом еще отдохнет и опять по щекам. Да в нос! да в глаза кулаком, кровь так ручьем и льет... «Я, говорит, твою морду поганую насквозь до самого затылка проломлю!» И вдруг в самые вздохи как звизданет кулаком — ну, думаю, убьет он меня! И убил бы, да уж прохожие начали около дома собираться...

Во время рассказа Ванька-Каин постепенно входил в такой азарт, что даже белесоватые глаза его загорались. Со всех сторон слышались восклицания:

— То-то рыло у тебя сплюснуто!

— То-то трех зубов у него спереди нет! это князь его пожаловал.

— Что ж ты с четвертной-то сделал? оброк, что ли, заплатил?

— Нет, братцы, в ту пору последние моды пришли, я и купил себе манжеты на заячьем меху с отворотами!

— Ха-ха-ха!

Но по мере того как росла популярность Ивана, и время в свою очередь нарастало. Сентябрь уже подходил к половине; главная масса полевых работ отошла; девушки по вечерам собирались в девичьей и сумерничали; вообще весь дом исподволь переходил на зимнее положение. Ванька-

Каин догадывался, что для него готовится что-то недоброе, и догадка эта, повидимому, начинала оказывать на него некоторое действие. Не то чтоб он унялся, но нередко замечали, что он ходит как сонный и только вследствие стороннего подстрекательства начинает шутки шутить.

— Всего меня, братцы, нынче ночью изломало, — жаловался он: — голова как котел, бока болят, ноги ноют...

— Это тебя князь в ту пору в очистку отделал!

— Много у меня князей было. Одну съезжую ежели сосчитать, так иной звезд на небе столько не видал, сколько спина моя лозанов приняла!

На его счастье, у матушки случились дела в Москве. С отъездом барыни опасения Ваньки-Каина настолько угомонились, что к нему возвратилась прежняя проказливость. Каждый вечер приходил он в девичью, ужинал вместе с девушками и шутки шутил.

— Важно! Москвой запахло! — говорил он, когда на стол ставили пустые щи.

Или когда приносили толокно:

— А это, стало быть, бламанжей самого последнего фасона. Кеси-киселя (вероятно, qu'est ce que c'est que cela[1]) милости просим откушать! Нет, девушки, раз меня один барин бламанжем из дехтю угостил — вот так штука была! Чуть было нутро у меня не склеилось, да царской водки полштоф в меня влили — только тем и спасли!

— Ишь врет!

---

[1] Что это такое *(франц.)*.

— Я вру? Это пес врет, а не я. Я, красавицы, однажды на паре́ вилку проглотил. Так и о сю пору она во мне и сидит.

Аннушку-каракатицу эти шутки приводили в непритворное негодование... Вообще шутовство было противно ее природе, а сверх того Иван отвлекал внимание девичьей от ее поучений.

— Не мути, христа ради! дай хлеба божьего поесть! — убеждала она наглеца.

— А вам, тетенька, хочется, видно, поговорить, как от господ плюхи с благодарностью следует принимать? — огрызался Ванька-Каин: — так, по-моему, этим добром и без того все здесь по-горло сыты! Девушки-красавицы!— обращался он к слушательницам: — расскажу я вам лучше, как я однова́ ездил на Моховую, слушать музыку духовую... — И рассказывал. И, к великому огорчению Аннушки, рассказ его не только не мутил девушек, но доставлял им видимое наслаждение.

Наконец матушка воротилась. И едва успела поздороваться с домочадцами и водвориться в спальной, как уже справилась, что делает Ванька-Каин. Разумеется, ключница доложила, что он отбился от рук и всё время сидмя-сидел в девичьей.

— Ну, больше сидеть не будет,— решительно молвила матушка и в тот же вечер приказала старосте, чтобы назавтра готовил дальнюю подводу.

В то время обряд отсылки строптивых рабов в рекрутское присутствие совершался самым коварным образом. За намеченным субъектом потихоньку следили, чтоб он не бежал или не повредил себе чего-нибудь, а затем в условленный

момент внезапно со всех сторон окружали его, набивали на ноги колодки и сдавали с рук на руки отдатчику.

С Иваном поступили еще коварнее. Его разбудили чуть свет, полусонному связали руки и, забивши в колодки ноги, взвалили на телегу. Через неделю отдатчик вернулся и доложил, что рекрута приняли, но *не в зачет*, так что никакой материальной выгоды от отдачи на этот раз не получилось. Однако матушка даже выговора отдатчику не сделала; она и тому была рада, что крепостная правда восторжествовала...

Прошло несколько лет. Я уже вышел из училища и состоял на службе, как в одно утро мой старый дядька Гаврило вошел ко мне в кабинет и объявил:

— А к нам гость пришел. Взойди! ничего, ступай! — прибавил он, обращаясь к стоявшему за дверью гостю.

Передо мной предстал длинный-длинный, совсем высохший скелет. Долгое время я вглядывался в него, силясь припомнить, где я его видел, и, наконец, догадался.

— Иван?

— Так точно, вашескородие.

— Однако, брат, отощал ты!

— Извольте смотреть, вашескородие!

С этими словами он раскрыл рот и распялил пальцами губы.

— Извольте смотреть! — продолжал он: — прежде только трех зубов не было, а теперь ни одного почѐсть нет!

— Да, маловато. Что же ты делаешь? служишь?

— Так точно-с. При полковом лазарете фершалом состою. Только недолго мне уж служить. Ни одного суставчика во мне живого нет; умирать пора.

Он пробыл у нас целый день. Гаврило пытался вызвать его на шутки, но Иван так тоскливо взглянул на него при этом напоминании, что оставалось только вместе с ним мысленно повторить: умирать пора.

КОНОН

Конон не отличался никакими особенными качествами, которые выделяли бы его из общей массы дворовых, но так как в нем эта последняя нашла полное олицетворение своего сокровенного миросозерцания, то я считаю нелишним посвятить ему несколько страниц.

Мужская комнатная прислуга была доведена у нас до минимума, а именно, сколько мне помнится, для всего дома полагалось достаточным не больше двух лакеев, из которых один, Степан, исполнял обязанности камердинера при отце, а другой, Конон, заведывал буфетом. Но, само собой разумеется, эти специальности не мешали обоим исполнять и всякие другие лакейские обязанности. Матушка считала лакеев, даже по сравнению с женской прислугой, дармоедами по преимуществу, и потому нещадно сокращала штат их. Еще я помню время, когда в передней толпилась порядочная масса мужской прислуги; но мало-помалу стая старых слуг редела, и выбывавшие из строя люди не заменялись новыми.

Конон знал твердо, что он природный малиновецкий дворовый. Кроме того, он помнил, что первоначально его обучали портному мастерству,

но так как портной из него вышел плохой, то сделали лакеем и приставили к буфету. А завтра, или вообще когда вздумается, его приставят стадо пасти — он и пастухом будет. В этом заключалось всё его миросозерцание, то сокровенное миросозерцание, которое не формулируется, а само собой залегает в тайниках человеческой души, не освещаемой лучом сознания.

Факты представлялись его уму бесповоротными, и причина появления их в той или другой форме, с тем или иным содержанием, никогда не пробуждала его любознательности. Барин в кабинете сидит, барыня приказывает или гневается, барчуки учатся, девушки в пяльцах шьют или коклюшки перебирают, а он, Конон, ножи чистит, на стол накрывает, кушанье подает, зимой печки затопляет, смотрит, как бы слишком рано или слишком поздно трубу не закрыть. Вот и всё. Ежели в промежутках этих преходящих явлений случайно выпадет свободная минута, он пойдет в лакейскую, сядет на ларь, расставит ноги и чуточку подремлет.

— Что ты, Конон, дремлешь? — скажет ему кто-нибудь: — ты бы лучше посмотрел, что сала на столе в буфете накопилось, да вычистил бы.

— И то пойти вычистить, — молвит он, возьмет скребок и через полчаса большую-большую груду сальных оскребков несет в фартуке на девичье крыльцо.

Ежели по дороге увидит этот ворох матушка, то непременно заметит:

— Давно бы пора, лежебок, догадаться! Ишь до чего довел! Смотреть тошно.

На что он также непременно возразит:

— Не одно, сударыня, дело!

Это возражение как будто свидетельствовало, что резонирующая способность не совсем еще в нем угасла. Но и она, пожалуй, не была результатом самодеятельной внутренней работы, а слышал он, что другие так говорят, и машинально повторял с чужих слов.

Вообще вся его жизнь представляла собой как бы непрерывное и притом бессвязное сновидение. Даже когда он настоящим манером спал, то видел сны, соответствующие его должности. Либо печку топит, либо за стулом у старого барина во время обеда стоит с тарелкой подмышкой, либо комнату метет. По временам случалось, что вдруг среди ночи он вскочит, схватит спросонок кочергу и начнет в холодной печке мешать.

— Это в тебе, Конон, нечистая сила действует, — подтрунит кто-нибудь над ним.

— И то лукавый попутал!

Плана в занятиях своих он не соблюдал и переделывал вразбивку вообще всё, что требовалось по лакейской должности. А ежели что и еще сверх того прикажут, то и это сделает. Вообще никакой личной инициативы не знал, ничего, кроме заведенного, так сказать, вошедшего ему в плоть и кровь порядка и действительно случайного стороннего импульса. И никогда не интересовался знать, что из его работы вышло, и всё ли у него исправно, как будто выполненная формальным образом лакейская задача сама по себе составляет нечто самостоятельное, не нуждающееся в проверке ее практическими результатами.

— Срам смотреть, какие ты стаканы на стол подаешь! — чуть не каждый день напоминали ему. На что он с убежденным видом неизменно давал один и тот же ответ.

— Кажется, перетираю...

Молчальник он был изумительный. Редко-редко с его языка слетал какой-нибудь неожиданный вопрос вроде: «прикажете на стол накрывать?» или: «прикажете сегодня печки топить?» — на что обыкновенно получалось в ответ: «одурел ты, что ли, об чем спрашиваешь?» В большинстве случаев он или безусловно молчал, или ограничивался односложными ответами самого первоначального свойства.

— Холодно сегодня? — спросит, например, матушка за утренним чаем.

— Не заметил-с.

— Ишь шкура-то у тебя...

— Известно, зима, а не лето.

Даже из прислуги он ни с кем в разговор не вступал, хотя ему почти вся дворня была родня. Иногда, проходя мимо кого-нибудь, вдруг остановится, словно вспомнить о чем-то хочет, но не вспомнит, вымолвит: «здорово, тетка!» — и продолжает путь дальше. Впрочем, это никого не удивляло, потому что и на остальной дворне, в громадном большинстве, лежала та же печать молчания, обусловившая своего рода общий modus vivendi[1], которому все бессознательно подчинялись.

По временам, он заходил вечером в девичью (разумеется, в отсутствие матушки, когда больше досуга было), садился где-нибудь с краю на ларе и слушал рассказы Аннушки о подвижниках первых времен христианства. Но производили ли они на него какое-нибудь впечатление, и действительно ли он что-нибудь слышал — этого никто

[1] Образ жизни *(лат.)*.

определить не мог. Слушает-слушает и вдруг на самом интересном месте зевнет, перекрестит рот, вымолвит: «Господи Иисусе Христе!» — и уйдет дремать в лакейскую, покуда господа не разойдутся на ночь по своим углам.

Какое-то гнетущее равнодушие было написано на его лице, но в чем заключалась тайна этого равнодушия, это даже ему самому едва ли было известно. Во всяком случае никто не видал на этом лице луча не только радости, но даже самого заурядного удовольствия. Точно это было не лицо, а застывшая маска. Глядит, моргает, носом шевелит, волосами встряхивает, а какой внутренний процесс скрывается за этими движениями — отгадать невозможно.

Некоторое время он был приставлен, в качестве камердинера, к старому барину, но отец не мог выносить выражения его лица, и самого Конона не иначе звал, как каменным идолом. Что касается до матушки, то она не обижала его, и даже в приказаниях была более осторожна, нежели относительно прочей прислуги одного с Кононом сокровенного миросозерцания. Так что можно было подумать, что она как будто его опасается.

— Леший его знает, что у него на уме, — говаривала она:—всё равно как солдат по улице со штыком идет. Кажется, он и смирно идет, а тебе думается: что, ежели ему в голову вступит — возьмет да заколет тебя. Судись, поди, с ним.

Впрочем, она видела, что Конон, по мере разумения, свое дело делает, и понимала, что человек этот не что иное, как машина, которую сбивать с однажды намеченной колеи безнаказанно нельзя, потому что она, пожалуй, и совсем пере-

станет действовать. Но внутренно он был ей несимпатичен. Как женщина по природе ретивая, она и в прислуге главнее всего ценила ретивость и любила только тех, у кого дело, как говорится, в руках горит. Поэтому, глядя, как Конон, болтая руками и вращая недоумевающими глазами, бродит с щеткой по комнатам, не столько выметая их, сколько поднимая пыль столбом, она выражалась:

— Ишь, олух, бродит! словно во сне веревки вьет! Кажется, так бы взяла да щеткой тебя, да щеткой...

Но что всего больше досадовало матушку — это показывавшаяся по временам на лице Конона улыбка. Не настоящая улыбка, а какое-то подобие, точно на портретах, писанных неискусной рукой крепостного живописца.

— Стало быть, есть у него рассудок, стало быть, он чему-нибудь да смеется! — ворчала она, с любопытством наблюдая, как это загадочное подобие улыбки то мелькнет, то опять пропадет на тонких обесцвеченных губах «олуха».

Можно ли было считать Конона «верным» слугою — этот вопрос никому не приходил в голову. Несомненно, он никогда ничего не украл, никого не продал и даже никому не нагрубил, но все это были качества отрицательные, в которых внутреннее его существо не принимало никакого участия и которых поэтому никто в заслугу ему не ставил. Поручить ему все-таки ничего было нельзя, потому что в таком случае потребовалось бы войти в такие мелкие подробности, предугадать которые заранее совсем невозможно. Ежели же всего до последней мелочи ему вперед не пересказать, то он при первой же

непредвиденности или совсем станет втупик, или так напутает, что и мудрецу распутать не под силу. Ничего *от себя* он придумать не был в состоянии, ни малейшей сообразительностью не обладал. Он был лакей в буквальном смысле этого слова — и ничего больше.

Поэтому его постоянно держали в лакейской, не давая вне ее никакого хода. И матушка, которая очень дорожила усердными и честными слугами, очень верно выражалась об нем, говоря:

— Вот он и честный, да что в нем!

И наружность он имел такую, что, несмотря на несомненно лакейский тип, представительным лакеем его все-таки назвать было нельзя. Среднего роста, узкий в плечах, поджарый, с впалою грудью, он имел очень жалкую фигуру, прислуживая за столом, и едва-едва держался нетвердыми ногами, стоя в ливрее на запятках за возком и рискуя при первом же ухабе растянуться на снегу. В Москве, когда начались выезды, это сделалось в особенности заметным, и сестрица отчасти ему приписывала свои неудачи в поисках за женихами. Ни прислужить по-столичному, не возвестить как следует приезд гостя он не умел, беспощадно перевирал фамилии, перепутывал названия улиц и в довершение всего перенес в московскую квартиру ту же нестерпимую неопрятность, которая отличала его в деревне. Словом сказать, только привычка и крайняя неприхотливость объясняли присутствие в большом городе подобного деревенского увальня, даже среди такой скромной обстановки, какова была наша.

Ходил он в деревне, по будням, в широком синем затрапезном сюртуке, в серых нанковых штанах и в туфлях на босу ногу. Такова была

общая обмундировка мужской прислуги в нашем доме. Но по праздникам надевал синюю суконную пару и выростковые сапоги и гоголем выступал в этой одежде по комнатам, заглядывая мимоходом в зеркала и чаще, чем в будни, посещая девичью. Очевидно, в нем таилась в зародыше слабость к щегольству, но и этот зародыш, подобно всем прочим качествам, тускло мерцавшим в глубинах его существа, как-то не осуществился, так что если кто из девушек замечал: «Э! да какой ты сегодня франт!» — то он, как и всегда, оставлял замечание без ответа, или же отвечал кратко:

— Известно... праздник!

По воскресеньям он аккуратно ходил к обедне. С первым ударом благовеста выйдет из дома и взбирается в одиночку по пригорку, но идет не по дороге, а сбоку по траве, чтобы не запылить сапог. Придет в церковь, станет сначала перед царскими дверьми, поклонится на все четыре стороны и затем приютится на левом клиросе. Там положит руку на перила, чтобы все видели рукав его сюртука, и в этом положении неподвижно стоит до конца службы.

— Ты что ж это, олух, целую обедню лба не перекрестил! — прикрикнет на него матушка, возвратясь из церкви.

— Так словно...

— «Так словно!» смотрите, резон выдумал! Вот я тебя, «так словно», в будущее воскресенье в церковь не пущу! Сиди дома, любуйся собой... щеголь!

Но никакие вразумления не действовали, и в следующий праздник та же история повторялась с буквальной точностью. Не раз, ввиду по-

добных фактов, матушка заподозривала Конона в затаенной строптивости, но по размышлении оставила свои подозрения и убедилась, что гораздо проще объяснить его поведение тем, что он «природный олух». Эта кличка была как раз ему впору; она вполне исчерпывала его внутреннее содержание и определяла все поступки.

Конечно, постоянно иметь перед глазами «олуха» было своего рода божеским наказанием; но так как все кругом так жили, все такими же олухами были окружены, то приходилось мириться с этим фактом. Всё одно: хоть ты ему говори, хоть нет, — ни слова̀, ни даже наказания, ничто не подействует, и олух, сам того не понимая, поставит-таки на своем. Хорошо, хоть вина не пьет — и за то спасибо.

— Сказывали мне, что за границей машина такая выдумана, — завидовала нередко матушка: — она и на стол накрывает, и кушанье подает, а господа сядут за стол и кушают! Вот кабы в Москву такую машину привезли, кажется, ничего бы не пожалела, а уж купила бы. И сейчас бы всех этих олухов с глаз долой.

Но машину не привозили, а доморощенный олух мозолил да мозолил глаза властной барыни. И каждый день прикоплял новые слои сала на буфетном столе, каждый день плевал в толченый кирпич, служивший для чищения ножей, и дышал в чашки, из которых «господа» пили чай...

— Пес ты бесчувственный! долго ли я от тебя надругательства буду терпеть! — выговаривала матушка, заставая его в подобных занятиях.

— Это как вам, сударыня, будет угодно.

Конон был холост, но вопрос о том, как он относился к женскому полу, составлял его лич-

ную тайну, которою никто не интересовался, как и вообще всем, что касалось его внутренних побуждений. Хранил ли он что-нибудь в глубинах своего существа, или там было пустое место — кому какое до этого дело? Известны были, впрочем, два факта: во-первых, что в летописях малиновецкой усадьбы, достаточно-таки обильных сказаниями о последствиях тайных девичьих вожделений, никогда не упоминалось имя Конона в качестве соучастника, и во-вторых, что, за всем тем, он, как я сказал выше, любил в праздничные дни, одевшись в суконную пару, заглянуть в девичью, и, стало быть, стремление к прекрасной половине человеческого рода не совсем ему было чуждо.

Во всяком случае, ежели смолоду, и когда притом браки между дворовыми разрешались довольно свободно, он ни разу не выказал желания жениться, то тем менее можно было предположить в нем подобное намерение в таком возрасте, когда он уже считал, по малой мере, пятьдесят лет. Но чего никто не ждал, то именно и случилось.

Однажды утром, одевшись в праздничную пару (хотя были будни), он без доклада явился в матушкину комнату и встал перед ее письменным столом, заложив руки за спину.

— Опомнись! куда пришел? зачем? — удивилась матушка.

— Имею желание в закон вступить, — молвил он, не теряя слов для предварительных объяснений.

— В какой закон? что ты, мѐлево, мелешь?

— Известно, в закон... как прочие, так и я... жениться позвольте.

— То-то я смотрю, ты в суконную пару вырядился... Что вдруг приспичило?

— Желание имею-с.

— А ты бы на себя в зеркало посмотрел... жених! Кого же ты осчастливить собой задумал?

— Матрена, стало быть, пойдет.

— «Стало быть»... Ишь ведь, олух, словно во сне бредит! Спрашивал ты ее, что ли?

— Никак нет-с. Всё равно из господской воли не выйдет.

— Держи карман! Так я за тебя девку силко̀м замуж и выдала!

— Всё равно-с. Матрена не пойдет, — Катюшка пойдет!

Матушка даже вскочила: до такой степени ее в одну минуту вывело из себя неизреченное остолопство, с которым Конон, без всякого признака мысли, переходил от одного предположения к другому.

— Уйди! — крикнула она на него: — Эй, девки! кто там? кто его ко мне смел пустить?

Конон молча ретировался. Ни малейшего чувства не отразилось на застывшем лице его, точно он совершил такой же обряд, как чищение ножей, метение комнат и проч. Сделал свое дело — и с плеч долой.

Тем не менее, матушка задумалась. Хотя очень часто Конон сердил ее своею бестолковостью, но в то же время он был безответен и никогда ни о чем не просил. Как-то совестно было отказать в первой просьбе человеку, который с утра до вечера маялся на барской службе, ни одним словом не заявляя, что служба эта ему надоела или трудна. Поэтому она не только не подняла Конона на зубо̀к, как это обыкновенно

в подобных случаях делала, ни никому не сообщила о случившемся и вообще решила держать себя сдержанно. И я уверен, что если бы Конон возобновил свою просьбу, то несомненно разрешение было бы ему дано.

Но прошла неделя, прошла другая — Конон молчал. Очевидно, намерение жениться явилось в нем плодом той же путаницы, которая постоянно бродила в его голове. В короткое время эта путаница настолько уже улеглась, что он и сам не помнил, точно ли он собирался жениться, или видел это только во сне. Попрежнему продолжал он двигаться из лакейской в буфет и обратно, не выказывая при этом даже тени неудовольствия. Это нелепое спокойствие до того заинтересовало матушку, что она решилась возобновить прерванную беседу.

— Видно, ты, Конон, уж отдумал жениться? — спросила она его однажды.

— Это как вам угодно.

— Подумай! Тебе уж все пятьдесят стукнуло — не поздно ли о жене думать?

— Известно...

— Задумал жениться, а спросить тебя, пойдет ли за тебя кто из девушек, — ты и сам не ответишь.

— Отчего не пойти — пойдут.

— Кто пойдет? — говори!

— Из господской воли ни одна не выйдет. Которую сами изволите назначить, та и пойдет.

— А ежели я никого не назначу?

— Это как вам угодно.

— Так вот что. Через три месяца мы в Москву на всю зиму поедем, я и тебя с собой взять собралась. Если ты женишься, придется тебя

здесь оставить, а самой в Москве без тебя, как без рук, маяться. Посуди, по-божески ли так будет?

Бледная улыбка скользнула на мгновение на губах Конона: слова матушки «без тебя, как без рук», повидимому, польстили ему. Но через секунду лицо его опять затянулось словно паутиною, и с языка слетел обычный загадочный ответ:

— Известно...

— Ну, ступай! Брось эту блажь, не думай об ней.

На этом и кончились матримоньяльные поползновения Конона. Но семья наша не успела еще собраться в Москву, как в девичьей случилось происшествие, которое всех заставило смотреть на «олуха» совсем другими глазами. Катюшка оказалась с прибылью, и когда об этом произведено было исследование, то выяснилось, что соучастником в Катюшкином прегрешении был... Конон!

Матушка так и ахнула.

Конон служил в нашем доме с двадцатилетнего возраста (матушка уже застала его лакеем), изо дня в день делая одно и то же лакейское дело и не изменяясь ни внутренно, ни наружно. Даже черные волосы его не седели и густою прядью, словно парик, прилипли к голове, с висками, зачесанными к углам глаз. Эта неизменяемость в значительной степени упрощала отношения к нему. Проходили годы, десятки лет, а Конон был всё тот же Конон, которого не совестно было назвать Конькой или Коняшкой, как и в старину, когда ему было двадцать лет. Никому не приходило на мысль, что он стареется, подобно прочим, и что лакейская сутолока, быть может, ему уж не под силу...

Между тем вокруг всё старелось и ветшало. Толпа старых слуг редела; одних снесли на погост, другие, лежа на печи, ждали очереди. Умер староста Федот, умер кучер Алемпий, отпросилась умирать в Заболотье ключница Акулина; девчонки, еще так недавно мелькавшие на побегушках, сделались перезрелыми девами...

Наконец скончался и старик-отец, достигнув глубокой старости, а вскоре после его смерти в народе пронеслись слухи о предстоящей воле...

Матушка затосковала. Ей тоже шло под шестьдесят, и она чувствовала, что бразды правления готовы выскользнуть из ее слабеющих рук. По временам она догадывалась, что ее обманывают, и сознавала себя бессильною против ухищрений неверных рабов. Но, разумеется, всего более ее смутила молва, что крепостное право уже взяло всё, что могло взять, и близится к неминуемому расчету...

— Так, чай, языки по-пустому чешут! И прежде брехали, и теперь то же самое брешут! — утешала она себя, но в то же время тайный голос подсказывал ей, что на этот раз брехотня похожа на правду.

Не будучи в состоянии угомонить этот тайный голос, она бесцельно бродила по опустелым комнатам, вглядывалась в церковь, под сенью которой раскинулось сельское кладбище, и припоминала. Старик-муж в могиле, дети разбрелись во все стороны, старые слуги вымерли, к новым она примениться не может... не пора ли и ей очистить место для других?..

И вдруг навстречу идет Конон и докладывает, что подано кушать. Он так же бодр, как был в незапамятные времена, и с такою же регу-

лярностью продолжает делать свое лакейское дело...

«И ему, поди, семьдесят лет есть,— мелькает у матушки в голове: — а вон он еще какой!»

Однако ж очередь и его не минула. Смерть, впрочем, застигла его совершенно случайно. Шел он однажды по лестнице, поскользнулся и переломил ногу. Костоправ попался плохой, срастил ногу небрежно; обнаружилась костоеда, и Конон слег.

Вероятно, боль была очень мучительна, потому что только тут догадались, что и Конон может чувствовать и страдать.

Однажды матушке доложили, что Конон отходит. Она поспешила в каморку, где он лежал, распростертый на войлоке, служившем вместо постели, и наклонилась над ним.

— Что, Конон? тяжко? — спросила она.

— Известно... смерть.

БЕССЧАСТНАЯ МАТРЕНКА

Я не раз упоминал, что когда отец был холост, и даже лет пятнадцать спустя после его женитьбы, покуда матушка была молода, браки между дворовыми совершались беспрепятственно. Еще в моей памяти живы (хотя я был тогда очень мал) девичники, которые весело справлялись в доме накануне свадьбы. Вечером, часов с шести, в зале накрывали большой стол и уставляли его дешевыми сластями и графинами с медовой сытою. В голове стола сажали жениха с невестой, кругом усаживались сенные девушки; но участвовала ли в этом празднике мужская прислуга — не помню. Девушки пели песни и величали нареченных; господа от времени до времени заглядывали в зал и прохаживались кругом стола. Часам к десяти все расходились.

Но чем глубже погружалась матушка в хозяйственные интересы, тем сложнее и придирчивее становились ее требования к труду дворовых. Дворня, в ее понятиях, представлялась чем-то вроде опричины, которая должна быть чужда какому бы то ни было интересу, кроме господского, и браки при таком взгляде являлись *невыгодными*. Семейный слуга — не слуга, вот афоризм, который она себе выработала и которому решилась следовать неуклонно. Отец на-

зывал эту систему системой прекращения рода человеческого и на первых порах противился ей; но матушка, однажды приняв решение, проводила его до конца, и возражения старика-мужа на этот раз, как и всегда, остались без последствий.

С тех пор малиновецкая девичья сделалась ареною тайных вожделений и сомнительного свойства историй, совершенно непригодных в доме, в котором было много детей.

С Матренкой, когда она в первый раз оказалась «с прибылью», поступили, сравнительно, довольно милостиво.

— Солдатик беглый в лесу... в ту пору ходили по ягоды... — бессвязно лепетала она, стараясь оправдать свой поступок.

— Не ветром ли надуло? — резко оборвала ее матушка.

Тем не менее, на первый раз она решилась быть снисходительною. Матренку сослали на скотную и, когда она оправилась, возвратили в девичью. А приблудного сына окрестили, назвали Макаром (всех приблудных называли этим именем) и отдали в деревню к бездетному мужику «в дети».

— Жаль тебе, Матренка, ребеночка? — спрашивали мы ее.

— Чего жалеть! Там ему, у мужичка, хорошо, — отвечала она тоном, из которого явствовало, что речь идет о глухом факте, которому предстояло только безусловно покориться.

— А будешь ты к нему ходить?

— Разве маменька ваша позволит!

— Да ты украдкой. Вот маменька в Заболотье уедет, ты и сходи...

— Нет уж... что!

Но когда она во второй раз оказалась виноватою, то было решено не допускать никаких послаблений. Она, впрочем, и сама это предчувствовала: до последней крайности скрывала свой грех, словно надеялась, что совершится какое-нибудь чудо. Но в то же время она понимала, что чуда никакого не будет, и бродила задумчивая, сосредоточенная. Примеры были у нее в памяти, примеры настолько жестокие и неумолимые, что при одной мысли о них становилось жутко. Ввиду этих примеров она, быть может, нечто обдумывала. Но за ней уже пристально следили, опасаясь, чтобы она чего-нибудь над собой не сделала, и в то же время не допуская мысли, чтоб виноватая могла ускользнуть от заслуженного наказания. С этою целью матушка заранее написала старосте в отцовскую украинскую деревнюшку, чтобы выслал самого что ни на есть плохого мальчишку-гадёнка, лишь бы законные лета имел. Она не забыла, что однажды уж помирволила Матренке, и решилась поступить с неблагодарною со всею неумолимостью.

Матренке осьмнадцать лет. Взяли ее в господский дом еще крохотною, когда она, лишившись отца и матери, коренных малиновецких дворовых, очутилась круглою сиротой. Тут она, в девичьей, на пустых щах да на толокне и выросла. Это добрая, покорная и ласковая девушка, которую не только товарки, но и господские дети любили. Красивою ее нельзя назвать, но при невысоком уровне красоты среди малиновецкой женской прислуги она может нравиться. Характер у нее веселый, отзывчивый, что очень резко выделяется на общем фоне уныния, господствующем в девичьей. Но уже когда она в пер-

вый раз сделалась матерью, веселость с нее как рукой сняло, а теперь, когда ее во второй раз грех попутал, она с первой же минуты, как убедилась, что беды не миновать, совсем упала духом.

И точно, беда надвигалась. Несомненные признаки убедили Матренку, что вина ее всем известна. Товарки взглядывали исподлобья, когда она проходила: ключница Акулина сомнительно покачивала головой; барыня, завидевшая ее, никогда не пропускала случая, чтобы не назвать ее «беглой солдаткой». Но никто еще прямо ничего не говорил. Только барчук Степан Васильевич однажды остановил ее и с свойственным ему бессердечием крикнул:

— Что, Матренка, опять ветром надуло?

Так-таки в упор и сказал, не посовестился... А она, между тем, ничего Степану Васильевичу дурного не сделала. Напротив, даже жалела его, потому что никто в доме, ни матушка, ни гувернантка, его не жалели и все называли балбесом.

Новый грех напомнил Матренке и о старом грехе. Проснулось чувство матери. Сын у нее был хоть и не «настоящий», а все-таки сын... Где-то он теперь, Макарка бессчастный? лежит, чай, мокрый, в зыбке, да сосет соску из ржаного хлеба... Правда, что Ненила, которой его «в дети» отдали, доброй бабой слыла, да ведь и у добрых людей по чужом ребенке сердце разве болит? Добра-добра, а все-таки не родная мать. Узнает ли когда-нибудь Макарка, что у него своя, кровная мать была? Или, быть может, она так и умрет, не сказавшись сынку!

Что побудило ее пойти на грех? склонность ли сердечная, или просто молодая кровь заговорила? Думается, что последнее предположение

вернее. В той среде, в которой она жила, в той каторге, которая не давала ни минуты свободной, не существовало даже условий, при которых могла бы развиться настоящая сердечная склонность. Дворня представляла собой сборище подъяремных зверей, которые и вожделели как звери. Вожделели урывками, озираясь по сторонам, не дозволяя себе лишней ласки и разбегаясь, как только животный инстинкт был удовлетворен. Встретился Ермолай-шорник — инстинкт устремился к нему; но если б вместо Ермолая явился ткач Дементий — инстинкт не отвернулся бы и от него. Одна разница со зверьми: последние вожделеют безнаказанно, а она, «девка» Матренка, должна за свои вожделения ждать кары.

То ли дело господа! Живут как вздумается, ни на что им запрета нет. И таиться им не в чем, потому что они в свою пользу закон отмежевали. А рабам нет закона; в беззаконии они родились, в беззаконии и умереть должны, и если по временам пытаются окольным путем войти в заповедную область, осеняемую законом, то господа не находят достаточной казни, которая могла бы искупить дерзновенное посягательство.

Увы! нет для раба иного закона, кроме беззакония. С печатью беззакония он явился на свет; с нею промаячил постылую жизнь и с нею же обязывается сойти в могилу. Только за пределами последней, как уверяет Аннушка, воссияет для него присносущий свет Христов... Ах, Аннушка, Аннушка!

. . . .

Наконец всё выяснилось. Матрена созналась, что находится в четвертом месяце беременности,

но при этом до такой степени была уверена в неизбежности предстоящей казни, что даже слова о пощаде не вымолвила.

— Ну, теперь жди жениха и собирайся в дальний путь! — сказала ей матушка.

Матренку одели в затрапезное платье, вывороченное наизнанку, и сняли с нее передник, чтобы беременность для всех была очевидна (в числе этих «всех» были и господские дети). Вероятно, этим хотели действовать на девичий стыд, забывая, что имели дело с существами, которые от рождения были фаталистически отмечены печатью звериного образа. Сверх того виноватой запретили показываться на глаза старому барину, от которого вообще скрывали подобного рода происшествия из опасения, чтобы он не «взбунтовался» и не помешал Немезиде выполнить свое дело.

Чувствовала ли Матренка стыд? На этот вопрос можно скорее ответить отрицательно. Но несомненно, что перспектива, которая, как можно было догадаться из слов матушки, ждала впереди, заставила ее сильно задуматься. Какого жениха ей готовят? Куда, в какой дальний путь снаряжаться велят? Ежели, например, в вологодскую деревню, то, сказывают, там мужики исправные, и девушка Наташа, которую туда, тоже за такие дела, замуж выдали, писала, что живет с мужем хорошо, ест досыта и зàвсе зимой в лисьей шубе ходит. Но матушка в подобных случаях хранила свои распоряжения в такой тайне, что проникнуть в ее намерения было невозможно. Известно было одно: что она не только строга, но и изобретательна.

Жених между тем не являлся, а матушку

вызвали в губернский город, где в сотый раз слушалось одно из многих тяжебных дел, которые она вела. Матренка временно повеселела, дворовые уже не ограничивались шопотом, а открыто выказывали сожаление, и это ободрило ее.

Но вот одним утром пришел в девичью Федот и сообщил Акулине, чтоб Матренка готовилась: из Украины приехал жених. Распорядиться, за отсутствием матушки, было некому, но общее любопытство было так возбуждено, что Федота упросили показать жениха, когда барин, после обеда, ляжет отдыхать. Даже мы, дети, высыпали в девичью посмотреть на жениха, узнавши, что его привели.

Жених был так мал ростом, до того глядел мальчишкой, что никак нельзя было дать ему больше пятнадцати лет. На нем был новенький с иголочки азям серого крестьянского сукна, на ногах — новые лапти. Атмосфера господских хором до того отуманила его, что он, как окаменелый, стоял, разинув рот, у входной двери. Даже Акулина, как ни свыклась с сюрпризами, которые всегда были наготове у матушки, ахнула, взглянув на него.

— Тебе который же год? — спросила она его, внезапно проникаясь глубоким состраданием к Матренке.

— Об Рождестве осьмнадцать минуло, — ответил он робко.

— Ну, признаться...

Матренка совсем взволновалась.

— Ни за что в свете я за тебя, гадёнка, не пойду! — кричала она, подступая к жениху с кулаками: — так и в церкви попу объявлю: не со-

гласна! А ежели силком выдадут, так я — и до места доехать не успеем — тебя изведу!

Жениха слегка передернуло; он исподлобья взглядывал на Матренкин живот и молчал.

— Слышишь! — продолжала волноваться невеста: — так ты и знай! Лучше добром уезжай отсюда, а уж я что сказала, то сделаю, не пойду я за тебя! не пойду!

— Да и мне неохота, — пробормотал мальчишка мрачно.

— Зачем же ты ехал, постылый?

— Староста велел... оттого...

— Ступай с моих глаз! ступай!

Мальчишка повернулся и вышел. Матренка заплакала. Всего можно было ожидать, но не такого надругательства. Ей не приходило в голову, что это надругательство гораздо мучительнее настигает ничем неповинного мальчишку, нежели ее. Целый день она ругалась и проклинала, беспрерывно ударяя себя животом об стол с намерением произвести выкидыш. Товарки старались утешить ее.

— Небось, еще выровняется! — говорила Акулина: — годка два пройдет, гренадер будет! Ему еще долго расти!..

— Ихняя сторона — хлебная! — уверяли девушки: — скирдов, скирдов, сказывают, наставлено столько, словно город у околицы выстроен!

— Гусей мужички держат, уток, свиней, перепелок ловят. Убоину круглый год во щах едят.

— Гадёнок! гадёнок! гадёнок! — вопила в ответ Матренка, заливаясь слезами.

На другой день, однако, она как будто притихла. Убеждения и утешения возобновились и начали оказывать действие.

— Слушай-ка ты меня! — уговаривала ее Акулина. — Всё равно тебе не миновать замуж за него выходить, так вот что ты сделай: сходи ужо к нему, да и поговори с ним ладком. Каковы у него старики, хорошо ли живут, простят ли тебя, нет ли в доме снох, зятевей. Да и к нему самому подластись. Он только ростом невелик, а мальчишечка — ничего.

— В па-нё-ве буду ходить... — всхлипывала в ответ Матренка.

— Что ж, что в панёве! И все бабы так ходят. Будешь баба, по-бабьему и одеваться будешь. Станешь бабью работу работать, по домашеству старикам помогать — вот и обойдется у вас. Неужто ж лучше с утра до вечера, не разгибаючи спины, за пяльцами сидеть?

— Известно, хуже! — подтверждала вся девичья.

— Эй, послушайся, Матренка! Он ведь тоже человек подневольный; ему и во сне не снилось, что ты забеременела, а он, ни дай, ни вынеси за что, должен чужой грех на себя взять. Может, он и сейчас сидит в застольной да плачет!

— Они меня смертным боем будут бить...

— Ничего, не убьют. Известно, старики поучат сначала, а потом увидят, что ты им не супротивница, и оставят. Сходи-ка, сходи!

Матренка послушалась. После обеда пошла в застольную, в которой, на ее счастье, никого не было, кроме кухарки. Жених лежал, растянувшись на лавке, и спал.

— Егорушко! — окликнула она его, стараясь отыскать в своем голосе ласковые тоны.

Егорушка встал и недоумевающими глазами

уперся в ее живот, точно ничто другое в ней не интересовало его.

— Господи! да никак он всё тот же, что и вчера! — мелькнуло в ее голове, но она перемогла себя и продолжала: — Я с тобой, Егорушко, говорить пришла...

— Пришла? — машинально повторил он за нею.

— Пришла прощенья у тебя выпросить. Хоть и не своей волей я за тебя замуж иду, а все-таки кабы не грех мой, ты бы по своей воле невесту за себя взял, на людей смотреть не стыдился бы.

— Неохота мне тебя брать, нечестная ты. Буду у господ милости просить.

— Всё одно: барыня что сказала, то беспременно сделает. Лучше уж прости ты меня.

— Не в чем мне тебя прощать; нечестная ты — вот и всё. Пропасти на вас, девок, нет: бегаете высуня язык, да любовников ищете... Как я тебя с таким горбом к старикам своим привезу!

— А люты у тебя старики?

Матренка с тоскою глядела на жениха, ища уловить в его глазах хоть искру сочувствия. Но Егорушка даже не ответил на ее вопрос и угрюмо промолвил:

— Была уж у нас такая — Варварой звали... тоже с кузовом привезли... Не долго выжила.

— Извели?

— Сама догадалась, извелась.

— Стало быть, ты меня не простишь?

— Сказал: не в чем мне тебя прощать. Горький я!..

Егорушка положил голову на стол и заплакал...

— Любить тебя буду, — шептала Матренка, присаживаясь к нему: — беречи буду. Ветру на тебя венуть не дам, всякую твою вину на себя приму: что ни прикажешь, всё исполню!

Слезы жениха окончательно разбудили ее. Она поняла, что ради нее этот человек, еще почти ребенок, погибнуть должен, и эта горькая мысль, словно электрический ток, болезненно пронизывала всё ее существо.

— Тяжко мне, мочи нет, тяжко! — продолжала она: — как я к твоим старикам такая явлюсь!

Она ближе всё теснилась к жениху, пытаясь обнять его, но он, не переменяя положения, грубо оттолкнул ее локтем.

— Не висни! не трогай! — сказал он брезгливо.

— Пореши ты меня! убей! лучше теперь убей, нежели там меня каждый день изводить будут!

Он поднял голову и взглянул на нее. Ей показалось, что он вдруг на несколько лет постарел: до такой степени молодое лицо его исказилось ненавистью и злобой.

— Так неужто ж тебя жалеть... паскуду! — прошипел он, и с этими словами встал и вышел из горницы.

Попытка примирения упала сама собой; не о чем было дальше речь вести. Вывод представлялся во всей жестокой своей наготе: ни той, ни другой стороне не предстояло иного выхода, кроме того, который отравлял оба существования. Над обоими тяготела загадка, которая для Матренки называлась «виною», а для Егорушки являлась одною из тех неистовых случайностей,

которыми до краев переполнено было крепостное право.

Матренка уже не делала дальнейших попыток к сближению с женихом. Она воротилась в дом, когда уже засветили огонь, и молча, вместе с другими, села за пряжу. По лицу ее товарки сразу увидали, что она «прощенья» не принесла.

— Не смыслит еще он, стариков боится. Ты бы опять... — начала было Акулина, но поняла, что ждать больше нечего, и прибавила: — Вот ведь какой узел вышел, и не сообразишь, как его развязать!

Раздумывая об участи, ожидавшей Матренку, в девичьей шопотом поминали имя Ермолая-шорника, который жил себе припеваючи, точно и не его грех. Это имя, конечно, могло бы разрешить всё; но установленные властной рукой порядки не допускали и мысли об естественной развязке. Порядки эти были наруку мужской прислуге и обрушивались всею тяжестью исключительно на девичьей. Несчастное существо, называвшееся «девкой», не только в безмолвии принимало брань и побои, не только изнывало с утра до ночи над непосильной работой, но и единолично выносило на себе все последствия пробудившегося инстинкта.

Матренка, повидимому, совсем позабыла об Ермолае. Как я уже сказал выше, она пала, как самка зверя, бессознательно, в чаду, которым до боли переполнила ее внезапно взбунтовавшаяся плоть. Встречаясь с ним теперь, когда суровое будущее уже вполне обрисовалось перед нею, она не отворачивалась от него, а вела себя так, как бы он вовсе для нее не существовал. Ей даже не было досадно, когда он, проходя мимо, смею-

чись, на нее посматривал и нагло посвистывал, словно подманивая на новый грех. Но когда до нее дошло, что Ермолай называет Егорку крестным сынком и вообще вышучивает его, это до такой степени взволновало ее, что однажды она, как разъяренная, бросилась на своего случайного любовника. Но он шутя отвел ее бессильные руки, и ничего из этого порыва не вышло.

Ермолай был такой же бессознательно развращенный человек, как и большинство дворовых мужчин; стало быть, другого и ждать от него было нельзя. В Малиновце он появлялся редко, когда его работа требовалась по дому, а большую часть года ходил по оброку в Москве. Скука деревенской жизни была до того невыносима для московского лодыря, что потребность развлечения возникала сама собой. И он отыскивал эти развлечения, где мог, не справляясь, какие последствия может привести за собой удовлетворение его прихоти.

Всё было проклято в этой среде; всё ходило ощупью в мраке безнадежности и отчаянья, который окутывал ее. Одни были развращены до мозга костей, другие придавлены до потери человеческого образа. Только бессознательность и помогала жить в таком чаду.

Время шло. Над Егоркой открыто измывались в застольной и беспрестанно подстрекали Ермолая на новые выходки, так что Федот, наконец, догадался и отдал жениха на село к мужичку в работники. Матренка, с своей стороны, чувствовала, как с каждым днем в ее сердце всё глубже и глубже впивается тоска, и с нетерпением выслушивала сожаления товарок. Не сожаления ей были нужны, а развязка. Не та раз-

вязка, которой все ждали, а совсем другая. Одно желание всецело овладело ею: погибнуть, пропасть!

И развязка не заставила себя ждать. В темную ночь, когда на дворе бушевала вьюга, а в девичьей всё улеглось по местам, Матренка в одной рубашке, босиком, вышла на крыльцо и села. Снег хлестал ей в лицо, стужа пронизывала всё тело. Но она не шевелилась и бесстрашно глядела в глаза развязке, которую сама придумала. Смерть приходила не вдруг, и процесс ее не был мучителен. Скорее это был сон, который до тех пор убаюкивал виноватую, пока сердце ее не застыло.

Утром на крыльце нашли окоченевший Матренкин труп.

Похоронили виноватую на сельском кладбище, по христианскому обряду, не доводя до полиции и приписав ее смерть простому случаю. Егорку, которого миссия кончилась, в тот же день отправили в украинскую деревню.

Матушка воротилась домой, когда всё было кончено.

СОДЕРЖАНИЕ

МАССОВАЯ СЕРИЯ

Редактор *И. Ширяев* Технический редактор *А. Егоров*

Сдано в набор 18/IX 1947 г. Подписано к печ. 23/X 1947 г
А-02116. Форм. бум. $84 \times 108^{1}/_{32}$. Печ. л. $5^{1}/_{2}$. Уч.-авт. л. 3,06

Отпечатано в тип. Н-16 с матриц 1-й Образцовой тип. треста „Полиграфкнига" Огиза при Совете министров СССР, Москва, Валовая, 28.

Цена ~~1 руб.~~ = 10

ОГИЗ
Гослитиздат
1948